



РОМАН ГАЗЕТА

2017 №6

«Мы говорили о душе...» / Лауреаты премии «Справедливой России»

90
лет



Николай Толстой

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ



«Я стану словом...» / Лауреаты премии «Справедливой России»

Владимир Солоухин / Мать-героиня



Русский по духу человек — это не тот, кто имеет определенный цвет кожи, этнические корни или цвет волос. Русский человек — это тот, кто не будет спать спокойно, если знает, что где-то есть несправедливость. Русский — это тот, кто будет искать правду-истину до конца, в каждой конкретной ситуации.

Лев Толстой



Сергей Миронов / Кольца Лизеганга



Мы вернулись домой. Проза писателей Крыма



Владимир Крупин / Неделя в р



ЛАУРЕАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ Литературной премии «В поисках правды и справедливости»



ФИЛИППОВ Дмитрий Сергеевич



ЛУНИН Юрий Игоревич



ЧЕРНОВА Анастасия Евгеньевна



ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна



ИВАНОВ Вячеслав Александрович



ВЕЛИКЖАНИН Павел Александрович



РУБАНОВ Роман Владимирович



СИГИДА Александр Александрович



СМАГИН Станислав Анатольевич



ПАНКРАТОВ Георгий Витальевич



САЗОНОВ Тимур Геннадиевич



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная
коллегия:

Дмитрий Белюкин

Юрий Бондарев

Семен Борзунов

Алексей Варламов

Анатолий Заболоцкий

Юрий Коннов

Владимир Личутин

Юрий Поляков

Ответственный
редактор

Елена Русакова

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2017

Все права защищены

Подписаться

на журнал «Роман-газета»

можно в отделениях связи

и через Интернет:

www.gazety.ru

Подписные
индексы издания:

в каталоге агентства

«Роспечать»

70782 на полугодие,

71752 на год;

в объединенном

каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

P1526 на полугодие

Точка зрения автора может

не совпадать с позицией

редакции

2017 №6 /1778/ Основана в 1927 г.

«Мы говорили о душе...»

Произведения лауреатов
Литературной премии
«Справедливой России»
и «Роман-газеты» 2016 года

Сергей МИРОНОВ,
Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
«Молодая литература России живёт и развивается!»

Литературная премия для молодых авторов «В поисках правды и справедливости» стала ежегодной. Сегодня — и по уровню выдвинутых на её соискание работ, и по квалификации членов уважаемого жюри — она выдвинулась в ряд ведущих литературных премий страны. Лауреаты прошлого года — Платон Беседин, Андрей Тимофеев, Елена Тулушева, Александр Антипов — стали признанными и уважаемыми авторами крупных журналов и издательств, об их творчестве спорят критики, да и сами они выступили основателями нового литературного направления — «молодые традиционалисты». Их герои ищут жизненную опору в лучших нравственных и духовных традициях нашего народа: любви к Родине, уважении к старшим поколениям, семейных ценностях, неутолимом стремлении к правде и справедливости. Можно сказать, что молодые авторы творчески осмысливают социальную, культурную, экономическую, экологическую политику социалистической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, несут наши идеи своим читателям.

В этом я вижу глубокий смысл Премии, её позитивное влияние на литературный процесс в России.

Меня искренне радует, что с каждым годом растёт профессиональное мастерство соискателей Премии, литературное качество присылаемых работ. Я с боль-

шим интересом ознакомился с произведениями финалистов и могу сказать, что многое в них задело меня за живое, заставило задуматься, навело как законодателя на желание внести соответствующие исправления и дополнения в существующие законы, поработать над новыми инициативами.

Присланные на конкурс работы — зеркальное отражение жизни сегодняшней России. Мне было особенно ценно узнать, что думают о ней молодые люди, какие проблемы их волнуют, как они их собираются решать? Мы часто повторяем, что «молодым везде у нас дорога», но это далеко не так. Молодым людям, особенно за пределами Садового кольца, живётся нелегко. Так называемые «социальные лифты» идут вверх с большим скрипом. Работающим парням и девушкам приходится «выживать» при нынешних зарплатах в провинции, ютиться на съёмных квартирах, отдавая за это большую часть заработка, искать утешения в дешёвых и примитивных развлечениях. В сюжеты лучших из присланных на конкурс произведений буквально «вплетены» о斯特рейшие социальные проблемы общества: нехватка доступного жилья, мизерные пенсии и зарплаты, несовершенство систем образования и здравоохранения. Пишут авторы и о духовном кризисе, проявляющемся в социальной

апатии населения, его нежелании отстаивать записанные в Конституции права.

Но, несмотря на следование традициям «критического реализма» в произведениях победителей конкурса явственно ощущается воля изменить жизнь в лучшую сторону. В поисках правды и справедливости герои их произведений сражаются с заражавшимися чиновниками, помогают «униженным и оскорблённым», защищают природу, пытаются «делать жизнь» не с «товарища Дзержинского», как советовал своим современникам Маяковский, а с тех, кому близки и понятны нравственные идеалы нашего народа, чья повседневная жизнь — служение «вечным» человеческим ценностям.

Молодая литература России жива! Она развивается, растёт в духовном и профессиональном плане. Не сомневаюсь, что специальный номер с избранными произведениями победителей премии «В поисках правды и справедливости» понравится читателям «Роман-газеты». В этом году журнал отмечает своё 90-летие. От всей души поздравляю редакцию, авторов и читателей с юбилеем!

Ну а сегодня мы объявляем старт нового — 2017-го года — сезона премии.

Ждём новых ярких произведений молодых прозаиков, поэтов и публицистов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 декабря 2016 года в Москве в здании Государственной Думы состоялось итоговое заседание жюри ежегодной Литературной премии политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и журнала «Роман-газета» «В поисках правды и справедливости». Премия присуждается молодым авторам (до 35 лет) в трёх номинациях: «Молодая проза России», «Молодая поэзия России», «Молодая публицистика России».

В обсуждении представленных на соискание Премии произведений и определении победителей голосованием (всего поступили 254 заявки от авторов из всех регионов Российской Федерации, а также из Белоруссии, Казахстана, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Польши, Украины, Франции, Эстонии) приняли участие: **Миронов Сергей Михайлович** — Председатель жюри ежегодной Литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, Председатель политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Российской Федерации; **Татаринов Руслан Владимирович** — Председатель Оргкомитета ежегодной Литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, Секретарь Президиума Центрального совета по вопро-

сам организационно-партийной деятельности политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, члены жюри: **Авдеев Владимир Викторович** — пресс-секретарь политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, **Аннинский Лев Александрович** — публицист, литературовед, литературный критик, обозреватель журнала «Дружба народов», преподаватель Института журналистики и литературного творчества, **Антипин Александр Павлович** — победитель Литературной премии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в номинации «Молодая поэзия России» 2015 года, **Артемов Владислав Владимирович** — главный редактор журнала «Москва», **Бояринов Владимир Георгиевич** — Председатель Московского городского отделения Союза писателей России, **Дарин Дмитрий Александрович** — поэт и прозаик, сопредседатель исполнительного Комитета и председатель отборочного жюри Международной литературной премии им. Сергея Есенина, **Драпеко Елена Григорьевна** — Заслуженная артистка РСФСР, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ГД ФС РФ, первый заместитель Председателя Комитета по культуре ГД ФС РФ, кандидат социологических наук, **Есин Сергей Николаевич** — Заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой творчества Литературного института им. А. М. Горько-

го, **Казинцев Александр Иванович** — критик, публицист, заместитель главного редактора журнала «Наш современник», **Козлов Юрий Вильямович** — писатель, главный редактор журнала «Роман-газета», **Крупчанов Андрей Леонидович** — доктор филологических наук, профессор кафедры истории новейшей литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, **Никовская Лариса Игоревна** — доктор социологических наук, **Никонорова Екатерина Васильевна** — заведующая отделом периодических изданий Российской государственной библиотеки,

главный редактор журнала «Обсерватория культуры», доктор философских наук, профессор, **Полтавец Елена Юрьевна** — кандидат филологических наук, МГПУ, **Гарасиева (Ронина) Елена Николаевна** — писатель, **Румянцев Андрей Григорьевич** — писатель, поэт, **Русакова Елена Васильевна** — ответственный редактор журнала «Роман-газета», **Шишкин Евгений Васильевич** — писатель, драматург, член Союза писателей России.

По итогам голосования был утвержден список победителей и лауреатов Премии.

В НОМИНАЦИИ «МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ РОССИИ»

I место:

ИВАНОВ Вячеслав Александрович (Смоленская область), сборник стихотворений.

II место:

ВЕЛИКЖАНИН Павел Александрович (Волгоградская область), сборник стихотворений.

III место:

РУБАНОВ Роман Владимирович (Курская область), сборник стихотворений.

СИГИДА Александр Александрович (Луганская Народная Республика), сборник стихотворений.

Было решено признать победителями конкурса с награждением «Специальным призом жюри» следующих финалистов Премии: **АЗИЗОВУ Юлию Анваровну** (Нижегородская область), цикл «Моя Россия», **СЕНИЧКИНУ Светлану Александровну** (Луганская Народная Республика), сборник стихотворений.

В НОМИНАЦИИ «МОЛОДАЯ ПРОЗА РОССИИ»

I место:

ФИЛИППОВ Дмитрий Сергеевич (Ленинградская область), «Сын человеческий», повесть.

II место:

ЛУНИН Юрий Игоревич (Московская область), сборник повестей.

III место:

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна (Москва), «Чудес хочется», сборник рассказов.

ЧЕРНОВА Анастасия Евгеньевна (Москва), «Горький шоколад», «Самолет пролетел», рассказы.

Было решено признать победителем конкурса с награждением «Специальным призом жюри» финалиста Премии: **ШУШАРИНА Антона Алексеевича** (Архангельская область), «Ангелы в ночи», повесть.

В НОМИНАЦИИ «МОЛОДАЯ ПУБЛИЦИСТИКА РОССИИ»

I место: СМАГИН Станислав Анатольевич (Ростовская область), сборник статей и эссе.

II место: ПАНКРАТОВ Георгий Витальевич (Санкт-Петербург), сборник статей.

III место: САЗОНОВ Тимур Геннадиевич (Ростовская область), серия очерков о проблемах российского сельского хозяйства.

Было решено признать победителем конкурса с награждением «Специальным призом жюри» финалиста Премии: **КОЗАК Юлию Евгеньевну** (Москва) за цикл очерков «Вежливые люди».

Редакция «Роман-газеты» поздравляет победителей и лауреатов Литературной премии «В поисках правды и справедливости», желает им творческих успехов и публикует отмеченные членами жюри избранные произведения молодых прозаиков, поэтов и публицистов в специальном номере журнала.

ДМИТРИЙ ФИЛИППОВ

Сын человеческий

Май случился душным. Поля и леса высыхали, останевшие слепни сосали все живое и движущееся. Дворовые собаки, одурев от жары, забивались под плетень и весь день лежали, замерев в одной позе, тяжело дыша и высунив язык. Люди сдавленно матерились, работали, поливали чахлые огороды. Под вечер чуть отпускало.

Всю ночь Маша спала беспокойно, вздрагивала, шептала во сне бессвязное. Окна в доме были распахнуты, но раскаленный воздух не успевал остыть и плотная, вязкая духота впитывалась в обветренную кожу. Потели спина и плечи, ночная рубаха намокла, широкий лоб блестел в свете жирной луны, как начищенный медный таз. Несколько раз она просыпалась, устало и машинально отирала пот мокрым полотенцем и засыпала снова, тяжело дыша, зачем-то прижимая руки к животу.

К утру духота спала, на короткий час в воздухе повеяло прохладой. И Маше приснился запах сына. Сладкий и кислый одновременно. Как цветной рафинад, вымоченный в козьем молоке. Она проснулась с этим запахом, закусила губу и заревела в подушку.

Детей Маша хотела страстно, жадно. Эта ноющая бабья тяга сверлила нутро и мешала дышать полной грудью. Она заглядывалась на деревенскую ребятню, и в такие моменты лицо ее озаряла блаженная улыбка предвиденья, предчувствия.

Родители Маши умерли в один день. Дом их стоял на краю деревни, заваливаясь в овраг. Семья жила бедно и не могла платить пастуху, поэтому за корову доглядывала Маша. Это ее и спасло, когда рухнули подгнившие перекрытия и дом сложился. Разобрав завалы, отца и мать долго не могли достать: так крепко вцепились они друг в друга перед смертью.

Гроб колотил старик Осип Давыдов, сосед и вдовец. Большой был гроб, один на двоих. Не пожелали старики разжимать пальцы. Лежали в гробу смиренные и тяжелые, страшные и пустые, высосанные до дна. Лица их затвердели. И так тяжело, не по-родному пахло от родителей, что Маша не смогла поцеловать их, глотая комок отвращения, застыдилась своих чувств и в рев заголосила.

Осип Давыдов взял девушку к себе. Расписался с ней законным браком, но притронуться по-мужски не смел. Да и сил в нем уже не было.

— Ты живи, дева, живи. И не бойся меня.

— Я не боюсь, Осип Макарович.

— Господь не зря нас сковырнул, значит. Что-то будет...

Встала Маша легко, с какой-то сладкой разбитостью во всем теле. Умылась. Гремя ведром, вышла на улицу. Из коровника донеслось протяжное мычание — Кляксу томилась от наполнившего вымя молока.

— Сейчас, сейчас, — прошептала Маша. Еще раз втянула носом воздух, но ночной запах пропал, остался в предсне.

Днем снова свалилась жара. Работы было много: накормить скотину, прибраться по дому, приготовить обед, полить огород, натаскать воды из колодца, постирать белье.

Белье Маша стирала в речке, как и все бабы. Спустившись к плесу с полным тазом грязных рубашек, простыней и наволочек, Маша, опрокинув таз на землю, сладко потянулась и вдруг замерла от странного чувства наполненности во всем теле. Будто живительные токи побежали по венам, и не было ни жары, ни усталости — только необычайная легкость и гибкость в членах. Маша представила себя кошкой, греющейся на подоконнике, но готовой в любой момент ловко взорваться и, представив, зажмурилась в предвкушении чего-то волшебного.

— Доброго дня, красавица.

Девушка вздрогнула и обернулась. На пригорке стоял крепкий, щетинистый мужик, не местный, хитро шурился на солнце и катал соломину в углу рта.

— Доброго, — произнесла с опаской и поправила подол платья.

— Да ты не бойся, не укушу, — улыбнулся незнакомец.

— А чего мне бояться? — ответила Маша, плотнее скимая пральник.

— Местная?

— Ну, допустим.

— Как звать?

— Как звать — свои знают, а до чужих дела нет.

— Ишь какая...

Мужик легко спрыгнул с пригорка и, ловко перебирая ногами, засеменил вниз, к реке. У Маши отчего-то перехватило дыхание, но не от страха — от другого, ранее не веданного чувства.

— Меня Гаврилой звать. Будем знакомы.

Маша не спешила отвечать. Откинув пральник и уперев руки в бока, внимательно рассматривала путника, его крепкую, ладную фигуру, жесткую щетину, озорной прищур в черных, как ночь, глазах.

— И откуда ты взялся, Гаврила?

— Домой возвращаюсь. Нахаловку знаешь?

Маша кивнула. Нахаловка была большой деревней, километрах в тридцати от Назарьевки по дороге в райцентр. Там поселилась Машина сестра Елизавета с мужем Захаром.

— Вот там и живу. То есть жил раньше.

— Раньше?

— Десять лет не был.

— Что ж так?

— Лес валил для советской власти.

— Долго.

Мужик ослабился:

— Десять лет можно на одной ноге простоять.

Только сейчас Маша заметила выцветшие чернильные рисунки на ладонях. Гаврила перехватил ее взгляд.

— Руки мои как книга. Свои прочтут, а чужие глаза сломают.

— Загадками говоришь...

— Какие уж тут загадки.

Он сделал шаг ей навстречу, чуть ближе допустимого, но Маша не отодвинулась. Только грудь ее стала вздыматься чаще и сладкие мурашки пробежали по позвоночнику. Будь что будет, подумала. Мужик выплюнул истрепанную соломину, медленно протянул руку и коснулся девичьего плеча. Машу будто током ударило.

— Десять лет такой красоты не видел...

Молчала. Не могла отвести взгляда от его властных, голодных глаз.

И тогда он рванул ее к себе, сжал крепко, как цепь мир сжимают. И Маша оторвалась от земли и поплыла, поплыла...

Потом лежали на песке, тяжело дыша. И был стыд, и боль, и сладость в животе. В ногах валялось нестираное белье.

Гаврила схватил Машу за руку и зашептал жарко в самое ухо:

— Ты не думай, я не просто так. Пойдем со мной. Горя знать не будешь...

— Нельзя.

— Пойдем, пойдем...

— Замужем я. Уходи.

Маша тяжело поднялась, собрала белье. Духота дня навалилась на нее, как наказание за грех. Гаврила натянул штаны, стряхнул с колен дорожную пыль.

— Как знаешь.

Постоял немного, выжидая, и стал подниматься по пригорку, к дороге. Обернулся напоследок и произнес:

— Зовут-то тебя как?

Ничего не ответила, взяла из кучи мужнины рубаху и пошла к воде.

Стыд и радость замешались в девичьей душе, дни наполнились иным содержанием: страхом, тайной, предчувствием. Маша жила как во сне, не чуя под собой ни времени, ни земли, не думая о том, что будет. Щеки ее горели от воспоминаний, а внутри тяжелела новая жизнь.

В июле Осип решил зарезать свинью. Маша вышла во двор и вдруг остановилась как вкопанная, не в силах пошевелиться. Смотрела, как муж с соседом Колькой Гримовым тянут из свинарника связанное животное, как подтягивают задние ноги к вбитому у поленицы металлическому штырю и плотно привязывают. Колька навалился на свинью всем телом, прижимая ее к земле. Свинья визжала, чуя смерть, и этот ржавый визг, заполнивший пространство, не давал Маше пошевелиться. Осип поднял длинный узкий нож и, наклонившись, точным и резким движением вогнал свинье в шею, перерезая яремную вену. Хлынула кровь.

— Чего встала? — закричал муж. — Тазик тащи...

Маша подошла на ватных ногах, ничего не соображая, и подала белый эмалированный тазик.

— И ведро давай, значит.

Кровь стекала быстро. Наполненный до краев тазик Осип сливал в ведро и снова подставлял под струю густой темной крови. Свинья дергалась все медленнее.

— Шалит, паскуда, — улыбнулся Колька. — Сейчас обосрется.

Предсмертные спазмы скрутили тело животного, и желудок опустошился. Запах дымящейся крови и испражнений пропитал воздух. У Маши закружилась голова. Девушку вырвало.

— Тю, — присвистнул Осип. — Иди в дом, не женка.

В этот день она слегла и провалилась неделю. Позывы рвоты накатывали волнами, и Маша не могла их сдерживать. По ночам ей снились тяжелые, муторные сны. Вот она рожает посреди поля, а вокруг вся деревня стоит, бабы, мужики, пашанва, смотрят, и никто не поможет, не подойдет. А потом приходят ее покойные родители и приносят поросенка. «Вот, — говорят, — это сынок твой» — «Как же так, мама?» — «Ну, что же, бывает. Ты расти его, сиську давай. А как подрастет — зарежем» — «Что ты такое говоришь? Ведь внук твой» — «Так-то оно так, но ведь не помирать с голоду из-за этого». Маша берет поросенка на руки, прикладывает к груди, а у того из шеи начинает хлестать кровь. Или снится ей Гаврила, идет по дороге в Нахаловку, а она чуть сзади, окликает его, но мужик не оборачивается. И тогда Маша начинает бежать за ним, но почему-то никак не может его догнать. Выбившись из сил, она кричит ему в спину: «Меня Машей звать, Машей». Гаврила оборачивается, а вместо лица у него свиное рыло.

К концу лета живот у Маши начал расти. Первым заметили деревенские бабы. Нюрка Гримова сначала долго косилась на ее живот, что-то нашептывая про себя, а потом в лоб спросила:

— Ты не брюхатая, часом, мать?

— А тебе что за дело?

— Ох ты, бог-ты, дает Макарыч... Или это не от него? Ась? — Нюрка облокотилась на забор и плотоядно облизнула губы. — Ты скажи, наше дело бабье.

Маша вырвала из грядки плотный кругляш свеклы и со всей силы запустила в соседку. Полетела земля в разные стороны.

— Ты чего, сдурула? Или правда рыльце в пушку?

— Топай давай.

— Больная...

Но слух пошел. И не спрятаться было от этого слуха. Как бы хотелось Маше провалиться сквозь землю и никогда не выбираться на свет. Тоска грызла ее изнутри. Но вместе с этим рождалось в ней и другое чувство: упоенность женским предназначением. Так росток пробивает камень и тянется к солнцу.

Настал день, когда она открылась мужу.

Думала, будет мучительно стыдно, а произнесла вслух — и как гора с плеч. Стояла бесшабашная и спокойная. Глядела прямо. И эта прямота растревила мужика, озлила. Осип Давыдов ударил хлестко, без замаха. Маша отлетела к печи, бухнулась на пол,

как куль с мукой. Осип отвернулся и, не глядя на жену, выплюнул:

— Пошла вон, потаскуха. Чтоб духу твоего здесь не было.

Больше он ей ничего не сказал.

Маша собрала вещи и отправилась в Нахаловку, к сестре.

Засветло она дойти не успела и заночевала в поле, у дороги. Поужинала хлебом и огурцом и, положив сумку под голову, зарылась в луговую траву, укутавшись полынью и растворившись в душистом травяном запахе. Зажглись звезды над головой, яркие, сочные. Маша глядела в ночное небо, а душа наполнялась покоем и благодатью. Будущего не существовало, а настоящее было внятным и верным. Ночь звучала трескотней цикад. Тянула болью распухшая от удара щека. Но все это было неважным по сравнению с новой жизнью, зреющей у нее в животе. И в этот момент ребенок пошевелился. Маша замерла, прислушиваясь к самой себе, к ощущениям и вдруг улыбнулась: небу, цикадам, полу.

Рыбка в животе проплыла.

Лизавета работала в огороде. Маша вошла во двор, окликнула ее. Та поднялась, тяжело и охая, вытирая потный лоб тыльной стороной ладони, так, что грязные разводы от земли бороздами прочертили кожу. Лизавета с минуту смотрела на сестру и вдруг звонко расхохоталась.

— Чудны дела Твои, Господи! Ты-то когда успела?
— Успела.

Только тут Маша заметила крупный, выпирающий живот сестры.

— А я-то тоже... вот-вот рожу, — продолжала сквозь смех говорить Лизавета. — Тут столько всего, Машка, столько всего... Давай, проходи. Какими судьбами? Откуда? Почему одна?

Маша подошла к сестре и расплакалась.

— Эй, ты чего? Ну, будя, будя.

Лизавета с улыбкой погладила Машу по щеке и вдруг скривилась от боли, ойкнула и вцепилась сестре в плечо.

— Что такое? — испуганно спросила Маша.

— Ничего-ничего, толкается, родненький... Сейчас пройдет, давай в дом.

В сенях Лизавета прижала Машу к стене и зашептала в самое ухо:

— Захара увидишь — молчи. Он как узнал, что я на сносях, замер как вкопанный, а потом затрясся весь, зашипел, пена изо рта пошла. Приступ, значит, падучая у него открылась. Пока люди сбежались, пока подняли, скрутили — язык себе то ли прикусил, то ли внутрь пропихнул, а вытащить не смог... Короче, чуть не задохнулся. Язык ему вытащили наружу, а он его ну кусать, до крови... Страсть что было. Потом побился, побился и затих. Два дня в горячке провалялся. А как очнулся — речь отнялась. Ни слова теперь сказать не может, только мычит все время.

— А ты... — начала Маша о главном, но сбилась. — От Захара ребенок?

— Конечно, от кого же еще.

Тишина пролезла в разговор.

— Ох, — поняла Лизавета. — А Осип знает?

— Знает.

— Пойдем в дом. Всё потом, потом.

Захар вернулся вечером с работы, на приветствие Марии не ответил, и вообще как будто не заметил девушки. Как и сказала сестра, он все время молчал, лишь изредка, обращаясь к жене, прорывалось сдавленное мычание, как у юродивого. И глаза в этот момент делались жалостными, коровьими.

Через неделю Лизавета родила. С утра начались схватки, и Захар позвал бабку-повитуху.

Лизавета громко кричала в дальней комнате: то тонко стонала, как русалка, то рычала по-звериному, звала маму, выла. Мария сидела за столом в большой комнате и скривлялась скатертью дрожащими руками. Ей было страшно. Неужели совсем скоро и она, такая живая, такая цельная, будет вот так корчиться и всем нутром рваться к небу?.. И длилось это часами. Бабка иногда выходила, набирала ковш парящего кипятка из ведра и снова уходила к Лизавете, плотно прикрыв за собой дверь. А Марии казалось, пока дверь открыта вот эти короткие секунды — все будет хорошо, ничего страшного не случится. Она заглядывала в проем двери и вымученно улыбалась сестре, но та не видела ее, никого не видела. Но как только бабка возвращалась, и цыкала на нее, и зашивала дверь — снова падал из горла в живот этот сосущий ужас.

Захар пил. Он снял с комода тяжелый гипсовый бюст Ленина, поставил на стол и осторожно чокался с вождем. Медленно наливал водку в стакан, до краев наливал, и так же медленно, вытянув губы вперед, втягивал алкоголь в себя. Гулко ходил вверх-вниз пшеничный небритый кадык. Потом он ставил стакан на стол, занюхивал куском черного хлеба и выдыхал сквозь зубы сивущее послевкусие. Гладил Ленина по лысине мозолистой ладонью. Волос на мусицкой голове был мягким, редким, не волос даже, а так, лебяжий пушок. Путался и топорщился. После выпитого Захар приглаживал его нетвердой рукой. Потом долго сидел молча, глядя прямо перед собой, буравя взглядом гипсовые очи вождя всех народов. Словно пытался вырвать у камня самый важный ответ. Но камень молчал. От этого молчания Захар темнел лицом и плотно сжимал зубы. И дрожала жилка на левой щеке.

Несколько раз приходили Захаровы старики, мать и отец. Топтались у порога, слушали крики невестки в соседней комнате и, помявшись, не сказав ни слова, уходили.

Что-то было не так. Чувство страшного и непоправимого песком набилось в рот. А потом наступила ночь.

Лизавета уже не кричала — ритмично хрюпала сквозь зубы. Посеревший и страшный сидел Захар. Руки его дрожали. Лунный свет подсвечивал гипсовую лысину Ленина.

Вышла бабка.

— Худо все. Младенчик поперек идет, пуповину на себя намотал. Молитесь.

Снова набрала кипятку и ушла.

А Маша прислушалась к себе и вдруг поняла, что страх ушел. Она знала, что делать.

Открыла дверь и вошла. Лизавета лежала на кровати, овальным яйцом горбился живот. Недобро зыркнула бабка:

— Уйди.

— Отдохни, бабушка.

— Что?

— Отдохни, я сказала.

Голос был спокойным и твердым, и бабка, не перечая, встала и проскользнула к двери.

— Сами нонче в ответе, — прошамкала напоследок.

Маша присела на край кровати, погладила сестру по вспотевшему, вымученному лицу. Та слабо повернула голову. Узнала, но улыбнуться не было сил. Лицо уже наполовину ушло в землю, откуда нет возврата.

— Все будет хорошо, милая. Теперь все будет хорошо.

Приложила губы к вздувшемуся, с синими прожилками вен животу. Ощутила тяжелый солоноватый вкус. И начала зацеловывать сестрин живот, нежно и аккуратно, чуть касаясь, щекоча губами.

— Помнишь, ты с Генкой на речке миловалась, а я подглядывала за вами, а потом мамке все рассказала, а та тебя мокрой тряпкой по двору гоняла, а я сидела на завалинке и хохотала, дуреха, а ты потом на меня долго обиду таила, не разговаривала, а я потом Генке записки от тебя носила, а он приходил под окна и на гармони наигрывал, а потом война началась, и Генка на фронт ушел, а ты ждала, а он вернулся без ноги и с какой-то девкой, стали жить, а ты плакала по ночам, сохла по нему, а я залезала к тебе под одеяло и мы лежали так, обнявшись, всю ночь, до рассвета...

Не говорила — заговаривала Маша, зашептывала, закоддовывала страшный, натянувшийся живот. И этот шепот пробуждал древние, спящие в природе силы, выманивал их из бани, из чердака, из леса, из полей. И силы, вынырнув из вековой дремоты, слетались к дому и кружили, кружили вокруг...

Начал толкаться ребенок в животе. Лизавета вновь закричала, но уже другим, обновленным голосом, выцарапывая саму себя из ямы, а Маша, сама проваливаясь в какую-то дрему, вдруг сжала сестрин живот двумя руками, направляя плод, подталкивая. Давила и сама не ведала, откуда проснулось в ней это знание. Показалась головка ребенка. Лизавета вцепилась кривыми пальцами в простыню и вдруг посмотрела в глаза сестре долгим, ошарашенным взглядом. И было в нем и удивление, и надежда, и благодарность. И любовь.

— Тужься, родненькая, тужься, последний разок...

Заскочила бабка в комнату, всплеснула руками.

И тогда Лизавета заорала из последних сил, как орут идущие грудью на пулеметы, и младенец вышел

из нее на свет, таща за собой склизкую пуповину. Бабка ловко приняла его, щелкнули ножницы, а Лиза, освобожденная, заревела от счастья, от того, что осталась живой.

Не выдержав, забежал Захар. Пьяным, мучительным взглядом смотрел на жену. Колдовала бабка с ребенком, шлепала его, вертела, но мальчик молчал. И все видели, что это мальчик, Лиза видела, закусив губу. И ждали, ждали...

Вдруг Захар замычал:

— В-в-в-в-вы-ы-ы-ы-ы.... А-а-в-в-в-в-а-а-а.... В-в-в-а-а-а-н-н-я-я-я-я-а... Ва-а-ня... В-а-а-а-а-н-я-я-а-а!!!

И сын заплакал нестерпимым, режущим первым плачем.

Маша легла на сестру поперек живота, вытянула руки и устало закрыла глаза. Хотелось спать.

Гостила она у Лизаветы три месяца, до середины ноября. Уже осенняя хлябь застыла по ночам, земля превращалась в холодный пластилин. Выпал первый снег. Машин живот округлился, налился соком, сама она раздобрела, отяжелели руки, опухло лицо, а на лбу высыпали гречишным зерном нарывистые прыщи.

Как-то раз в начале осени увидела Маша Гаврилу. Пошла с Лизаветой на базар и на краю его, за овощными рядами, услышала знакомый голос.

— Рыба! Накося — выкуси!

Он сидел с мужиками за длинным столом и играл в домино. Вокруг толпилась ребятня. На краю стола стояли бутылки, стаканы и нехитрая закусь на засаленной газете: хлеб, картошка, лепестки лука. Гаврила был все тот же: кепка, щетина с проседью, спичка в углу рта. Только глаза больные и поплывшие, как у загнанного зверя. Он обернулся, скользнул по Маше глазами, но не узнал ее.

— Ты чего, — спросила Лизавета. — Лешего увидала?

— Почти.

— Пойдем, Ванька скоро проснется.

Они уходили прочь, и вдруг звонко, с разухабистой удалью пропел Гаврила им вслед:

— Горе-баба: дала коню — и конь сдох...

Маша не обернулась.

В конце ноября ранним морозным утром около дома остановилась старенькая полуторка. Из машины выпрыгнул Осип Давыдов и, закурив папиросу, спокойным, уверенным шагом направился к дому.

— Собирайся, — сказал он Маше. — Погостила и будет. Домой пора.

Так Маша вернулась домой.

Муж ее поменялся за три месяца. Стал спокойнее, яснее. Так после причастия люди изнутри светятся. Ни разу он не попрекнул жену. Только по возвращению случился у них разговор.

— Ты ушла, а меня тоска за грудки схватила. Недели две маялся, потом в лес по грибы пошел. Царь-гриб нашел, огромный, шляпа — в мой обхват. А рядом с ним на полянке с десяток малышей. Жмутся,

значит, к родителю. Я белый-то сорвал, а малышей не стал трогать. Думаю, пусть подрастут, через пару дней загляну. А потом прихожу — нет грибов. И следов никаких. Думал, померещилось, так ведь царь-гриб есть, три банки закатал. Что это было? До сих пор не пойму.

Маша слушала, потупив взор, не перебивала. А Осип продолжал:

— Но вот тогда и стало мне ясно, что не виноватая ты. Никто не виноват. Я старик, а молодость... Ее в тисках не удержишь. Травинка — и та камень бьет. А тут, значит, человек живой. Со своим представлением.

Осип замолчал, проглатывая главные слова, но они уже рвались из груди, не удержать.

— Что ударил тебя — не жалею. Заслужила. Но боле бить не буду. Ребенку имя свое дам, моим будет. Но и ты не гуляй. Как помру — живи своим умом, а пока, значит, моим умом жить будем.

— Люди шептать начнут... — еле слышно проговорила Маша.

— Пущай болтают. Собака лает — ветер носит.

— Прости меня, Осип Макарович.

— Пустое. Так и решим, значит.

Деревня безмолвствовала. Маше казалось, что все смотрят на нее, смеются и шепчутся за глаза. Но люди посудачили и забыли.

В феврале объявили всесоюзную перепись. Надо было ехать в Житницк — райцентр в пятидесяти километрах.

Добирались на рейсовом автобусе. Новый ЗИС ходил по маршруту один раз в день. В Назарьевку он приезжал к восьми часам вечера.

В тот день ударили морозы, и с обеда началась метель. Осип с Машей вышли на дорогу и стали ждать. Автобус опаздывал на час. От ветра было не спрятаться. Он бил со всех сторон, заметая ледяную крошки под шапку, под воротник.

— Уйдем, — просила Маша.

— Надо ехать.

И они ждали. Маша перестала чувствовать пальцы ног. Осип подпрыгивал, стараясь согреться. Наконец из-за поворота моргнули два желтых зрачка, и красно-желтый автобус, похожий на булку хлеба, настужно тарахтя двигателем, остановился. Маша с трудом ступила на высокую подножку, придерживая огромный, выпирающий живот.

В салоне было не намного теплее, чем снаружи, пахло бензином и выхлопными газами. Автобус был почти пустой — два мужика клевали носом на задних сиденьях. Сильно тряслось на ухабах.

В Житницке их ждали друзья Осипа. Всё должны были сделать одним днем и сразу уехать домой.

Маша прислонилась лбом к замершему стеклу. За окном ревела мгла. Почему-то подумала о Гавриле: где он сейчас?

Через час что-то застучало под днищем и автобус, кряхтя и постанывая, замедлил ход, а через минуту и вовсе остановился. Зло матерясь, из кабину вышел водитель и нырнул в ночную мглу, мигая фонари-

ком. Мужики на задних сиденьях озабоченно обирались, глядя в овальные окна, пытаясь угадать, с чем колдует водитель. Из раскрытой двери потянуло холодом.

Наконец водитель вернулся в салон. Сел в кресло и не спеша закурил вонючую папиросу.

— Всё, приехали.

— Что случилось-то? — спросил один из мужиков.

— Генератор накрылся.

— И что? Ты по-русски скажи: мы поедем?

— Всё, говорю, приехали.

После этих слов что-то треснуло у Маши в животе, как будто бельевая веревка лопнула, и полились теплые воды.

— Ой, мамочки...

Лицо стало кривым и испуганным.

— Мама, мамочка...

— Эй-эй, ты чего? — испугался Осип, стал трясти ее за плечи. — Ты погоди, погоди...

Мужики молчали, оценивая ситуацию. Водитель продолжал курить, глубоко затягиваясь, не отрывая взгляда от испуганного девичьего лица.

— Я мокрая, — удивленно произнесла Маша.

Водитель щелчком выбросил окурок в ночь и сплюнул под ноги. Тоненькая струйка пара поднялась от слюны.

— Идти надо. Километров семь осталось.

Мужики не двигались. Глядели на Машу.

— А дойдем? — спросил Осип.

— Куда мы на х... денемся.

Он грубо ульбнулся: не губами, а всем скуластым трудовым лицом, и добавил, обращаясь к Маше:

— А ты терпи, краля. Как хочешь, терпи. Хоть обратно запихивай.

Пятеро вышли в ночь, четверо мужчин и одна женщина. Водитель шел впереди, освещая тусклым фонариком заметенную дорогу.

Сухо скрипел снег под ногами. Свистела метель. Пятеро шли сквозь мглу, и только свет фонаря был для них путеводной звездой, хрупкой ниточкой между жизнью и смертью.

Шли медленно, Маша опиралась одной рукой на плечо мужа, другой поддерживала дрожащий живот. Страха не было. Надо было идти, и она шла.

Страх пришел позже, когда что-то стремительно сжалось и разжалось внизу живота. Она охнула, остановилась.

— Что?

— Не знаю...

И снова сжалось и разжалось, и еще раз, и еще... Маша заплакала.

— Не могу больше...

Подошел водитель, мигая фонариком, посветил ей в лицо.

— Не надо...

И тогда он ожег фонариком себя и заговорил, перекривая выногу:

— Слушай меня, баба. Я — Саня Мелихов. Я три раза в атаку ходил, два раза был ранен. Под лопаткой

осколок сидит. У меня две звездочки на груди — не за х... собачий. Я тебя вытащу.

Лицо у него было худое, вытянутое. Черный треух надвинут на затылок. Глубоко впавшие синие глаза глядели твердо и горячо. Тонкие губы плотно сжаты. Шрамик на левой щеке. Борозды морщин. Маша поверила этому человеку. Сказала только:

— Я идти не могу. Схватывает...

— Решиш... Эй, братва, — окликнул он мужиков. — Давай-ка, взяли, за руки, за ноги.

Никто не посмел перечить.

Так и шли. Маша обнимала плечи мужа и Сани Мелихова; двое других обхватили ее за колени, упирая свободную руку в мягкий женский зад. Несли сквозь выигу и темноту. И лишь тускнеющий свет фонаря освещал дорогу.

Воды выходили по чуть-чуть, на блюдце молока для кошки. Во время ходьбы Маша не чувствовала холода, но когда ее понесли — железная стылость схватила и больше не отпускала; она чувствовала как замерзает намокшее белье. Еще она чувствовала, как устают руки мужчин, наполняются ватой и дрожат, как все чаще подбрасывают ее ноги, чтобы перехватиться поудобнее. Схватки пошли чаще и больнее.

Мужчины шли молча, не тратя сил на пустой треп. А Маша глубоко дышала ртом, постанывала. И вдруг она поняла, что умрет этой ночью. Не будет города, не будет ребенка. Она просто замерзнет в этой мгле. И как только она это поняла, как только почувствовала кожей и кровью неотвратимое, — ребенок дернулся и пошел.

— Мамочки... мамочки...

Все поняли.

— Ходу, мужики, — выплюнул водитель. — Ходу, х...яя осталась...

И они побежали маленькими шажками, матерясь сквозь зубы.

Фонарь тускнел на глазах. Мелкий снег набивался в рот, уши, глаза. И когда казалось, что все бесполезно, что нужно бросить эту бабу посреди дороги и спасаться самим — мелькнул огонек. А когда совсем выбежали за поворот — огонек засветил ярко и надежно, как звезда.

Темп не сбавили, слов не говорили. Берегли дыхание. Но у каждого потеплело на сердце.

Это был колхоз. В нос ударил запах замерзшего навоза. Светилось окно в сторожке.

Сания Мелихов забарабанил кулаками в дверь.

— Открывай... Открывай, сукин сын...

— Кто такие? — раздался за дверью старческий голос.

— Люди. Баба у нас рожает...

— Так вам в город надо.

— Она на крыльце сейчас родит. Сука ты, открай!

И вдогонку взмолился:

— Ну, открай же, отец! Ну...

Маша застонала. А потом звякнула щеколда после долгой — в вечность — паузы. На пороге стоял заспанный дед.

Этот миг застыл в морозном выюжном воздухе. Дед в сторожке. Со спины бьет свет электрической лампочки. Маша закусывает губу. Взопревшие мужики глядят с ненавистью.

— Сюда несите. — Дед показывает на обтянутый мешковиной матрац на полу. — Кровати нет. Не положена.

Машу аккуратно кладут и отводят на полшага назад. Руки вдруг становятся легкими и воздушными.

— Кипяток нужен, — говорит водитель.

— Сделаем.

Сторож ставит на раскаленную буржуйку ведро воды.

Пахнет скотиной от всех углов.

Маша не может говорить, смотрит затравленно по сторонам. Пытается поймать взгляд мужа, но Осип отводит глаза. Не верит, что все закончится благополучно. И тогда Саня Мелихов опускается перед ней на колени, задирает юбку и стаскивает намокшие, отяжелевшие рейтзузы. Рвет нижнее белье.

— Ну-ка, отвернулись все, — рычит.

Все послушно отворачиваются, только Осип стоит и смотрит как завороженный, не в силах пошевелиться.

Кипяток греется долго. В это время Маша кричит, тужится. Ребенок постепенно выходит на свет.

Сторож достает из тумбочки ополовиненную бутылку самогона, протягивает Мелихову. Тот щедро ополаскивает руки. Разливается сладкий сивушный запах.

Ребенок выходит медленно. Показывается сморщенная головка.

Маша кричит, ее крик рвет тесное пространство сторожки, устремляется в ночь, в непроглядную тьму.

Мужики стоят и смотрят. Дергается веко у Осипа. Мелихов бережно принимает головку ребенка промамогоненными руками.

Время и не застыло, и не замерло — завязло в крике, в свете запыленной лампочки, в молчании мужчин. Прошмыгнула мышь под столом.

Маша рвется от крика, грудь ее раскалывает булькающий воздух. Больно. Невыносимо больно. Словно весь белый свет болит у нее в животе.

И вдруг всем становится понятно, что все будет хорошо. С Машей, с ребенком, с миром. Мелихов произносит:

— Ножницы. Или нож. Накалите.

Дед роется в тумбочке и достает огромные ножницы. Вымя коровам резали. Кладет на буржуйку. Через минут ножницы краснеют на концах.

Младенец лежит у Мелихова на ладони, по-тараканы шевелятся пальчики. Слизь. Кровь. Маша облегченно дышит.

— Режь, — говорит Мелихов Осипу.

Тот в полусне берет ножницы, но обжигается, одергивает руку. И тогда сторож протягивает засаленное полотенце. Осип зажимает полотенцем кольца ножниц и перерезает пуповину. Шипит кровь. Маша вновь кричит, а потом начинает смеяться. Ее

не остановить, она хохочет, заливается. Мелихов держит младенца и тоже начинает похохотывать. И уже все хохочут, трясутся от смеха.

Младенец не кричит. Только открывает рот, ищет маму. И Маша протягивает к нему руки. Мелихов передает ребенка матери, и все видят, что это мальчик.

— Можно и покурить, — говорит Мелихов.

Мужчины выходят на улицу.

Тишина.

Стихла метель.

Закуривают. Трещит табак в морозном воздухе.

— Спасибо, — говорит Осип Давыдов.

— Спасибо не булькает, — отвечает Саня Мелихов и улыбается.

— За мной не заржавеет.

— Чудо сегодня случилось. А раз чудо — держи! Он снимает с запястья часы и протягивает Осипу.

— Пацану отдашь, когда вырастет. Немецкие. Трофейные. Я — Саня Мелихов.

Один из попутчиков лезет за пазуху, достает коробочку, протягивает:

— «Шипр». Раз такое дело... Андрюха меня зовут.

Последний снимает золотую цепочку с шеи и без слов протягивает Осипу.

— Я же... Я... Этот ребенок...

Осип давится словами. Сглатывает. В руках подарки.

— Иди к жене, к сыну, — улыбается Мелихов.

— Да, пойду, пойду.

— Иди.

Осип заходит в сторожку, аккуратно прикрывает за собой дверь.

Три волхва курят морозной ночью.

Смерти больше нет.

Юрий Лунин

Три века русской поэзии

Утро в середине лета, небо не предвещает дождя.

По обочине пустой загородной дороги летит на велосипеде парень семнадцати лет. Только что начался длинный спуск, на котором можно отдаться инерции и дать отдых ногам, но парень, наоборот, начинает работать ими всё быстрее, чтобы поспеть за собственной скоростью летящего вниз велосипеда и вновь ощутить сопротивление педалей, тем самым присвоив скорость себе. Но едва он ощущает желаемое сопротивление, велосипед словно отказывается от его помощи и продолжает катиться сам, заставляя парня как бы водить ногами по воздуху, и тот начинает всё сначала. Так они вдвоём достигают невероятной скорости, которой парень согласен уже просто насладиться.

По обеим сторонам от дороги стоит спокойный, ёщё не прогретый солнцем лес. Вся дорога в тени этого леса, и асфальт поэтому — синий. В воздухе ясно ощущается запах прохладной дорожной пыли. Парень чувствует, что этот запах и синее каким-то образом связаны друг с другом и что в этой связи кроется нечто не по-земному прекрасное. Ему очень хочется разгадать тайну этой связи, и в то же время ему особенно приятно, что он не может её разгадать. Ему не хватает кого-то рядом, и вместе с тем он счастлив, что совершенно один. Он много чувствует нового, не похожего ни на что прежнее, и хочет чувствовать ещё больше, но втайне от себя просит у кого-то: «Чуть поменьше, не надо слишком много», — потому что боится не вместить всего и остаться ни с чем.

Дрожит от ветра велосипедный звонок, гудят колёса, и рассекаемый воздух тепло гудит у висков.

Шумно, и жутко, и грустно, и весело — я ничего не пойму, — вспоминает парень строчки и с волнением глядит вперёд, туда, где обрывается лес и начинает сиять поле...

Всю вторую половину июня он провалялся в больнице с аппендицитом: плохое заживление рубца. Потерял две недели хорошего лета. Пропустил вступительные экзамены в местный строительный институт, куда пошли учиться почти все его одноклассники, да и большинство выпускников города.

Испытал первую в жизни настоящую сильную боль — как телесную, так и душевную. Раньше ему казалось, что он застрахован от всего страшного, что случается с людьми; что хирургические операции и больницы придуманы для других, не для него. А вот загремел, как другие, стал одним из этих других.

В первые дни после операции с незнакомой ему прежде тоской смотрел на верхушки берёз, которые призывающе дрожали сверкающими листьями за окном палаты. Вместе с ветром до него доносился смех незнакомых детей и девушек. Ему до слёз хотелось к ним, на солнечную волю: видеть их лица, смеяться вместе с ними. Он понимал, что уже очень скоро это будет ему доступно, а стало быть, нечего так страдать, но почему-то не мог избавиться от невыносимой тоски. Ему казалось, что никогда он отсюда не выберется.

Но больничные дни принесли в его жизнь не только боль.

В коридоре на третьем этаже, неподалёку от его палаты, имелась библиотечка. Библиотечка — это даже громко сказано; просто прибитая к стене полка, на которую больные складывали прочитанные ими журналы и детективы, не видя смысла забирать одноразовое чтиво домой. Как только парню отменили постельный режим, он вышел погулять по коридору и набрёл на эту полку. Вообще, он не очень-то увлекался чтением, но сейчас его внимание привлекла довольно толстая книга в коричневой об-

ложке, своей благородной простотой выделявшаяся из разноцветной груды периодики и дешевых романов. Он прочёл на корешке название: «Три века русской поэзии», достал книгу и подержал в руке, чувствуя, как его не затянувшийся рубец реагирует даже на такую невеликую тяжесть. Он взял книгу под мышку и отправился к себе в палату. Там он взбил свою дистрофическую подушку, улёгся на узкую койку, с которой так и не стряхнул колючие хлебные крошки, потому что не желал даже в такой ничтожной мере обживаться в нелюбимом месте, накрылся до пояса одеялом, как обычно запутавшись пальцем ноги в дырявом пододеяльнике, раскрыл книгу наугад и прочёл стихотворение Тютчева. Потом раскрыл на другом месте и попал на Заболоцкого, потом на Фета, на Рубцова, на Пастернака, Полонского, Державина, Фофанова...

Некоторые стихи были ему знакомы со школы, но тогда он читал их исключительно по долгу учёбы. Теперь же он читал сам, для себя, и это было совсем другое. Он помнил, что раньше очень многое в этих стихах было ему непонятно. Он даже задавался тогда вопросом: зачем писать так сложно и странно, если можно сказать обо всём просто? Теперь он удивлялся тому, как это раньше стихи Пастернака и Цветаевой могли казаться ему сложными, странными, заумными. Видимо, боль, с которой он познакомился в больнице, распахнула в его сердце какую-то тайную дверь, которую сразу ворвалось понимание этих стихов.

И он не мог оторваться от них. Он читал их, забыв самого себя, читал так жадно, как если бы находился в пожизненном заключении и одними лишь этими стихами мог напомнить себе о том мучительно радостном и просторном мире, который потерял навсегда.

Он стал читать дни напролёт. Иногда чувствовал, как к его глазам подступают слёзы, и тогда ему приходилось понорошку чихать и тереть нос, чтобы соседи по палате не догадались, что он плачет из-за книги.

Когда в палате выключали на ночь свет, стихи продолжали звучать в его голове. Он совсем не старался заучивать их наизусть; просто, читая, он проживал их сердцем насквозь, и они сами вкладывались в память целыми страницами, становясь как бы его собственными.

На соседних койках хранили на разные лады его случайные товарищи по неволе, время от времени звучно портя воздух; в коридоре потрескивали плафоны и изредка раздавались чьи-то скучные, равнодушные шаги, — а он лежал и видел мудрый, прогретый солнцем лес, видел изгиб сверкающей реки, видел сирень под тёплым дождём и задумчивую чистую девушку у вечерней калитки. И в такую-то секунду ему начинало казаться, что из того прекрасного мира, который он воображает, до него долетает настоящий ароматный ветер, и ему снова хотелось плакать, и часто он плакал. Поначалу он не вдумывался в эти слёзы и был уверен, что они текут от тоски, как вдруг однажды понял, что это — слёзы счастья.

Днём, в обеденное время, когда по душной палате вместе с запахом пищи разливалась тупая дремотная лень, он иногда начинал стыдиться того, что испытывал ночью, и нарочно говорил себе: «Чёрт знает что творится с нервами в этой больнице. Скорей бы уже отсюда смотаться». Однако он снова, — видимо, для того, чтобы себя испытать, — взбивал свою тонкую подушку, ложился на усыпанную колючими крошками койку, открывал книгу — и дремотная лень отступала, снова до него доносился ароматный ветер, ещё более прекрасный и удивительный посреди жаркого дня, чем посреди ночи.

Больницу он покидал не без сожаления. Конечно, он не забыл захватить с собой «Три века русской поэзии», но, едва переступив больничный порог, понял, что теперь ему будет трудно читать эту книгу так, как он читал её в больнице, что сейчас его захватит свободная, неплохая, но глупая жизнь.

Он единственный ребёнок в семье. Его аппендицит сильно напугал родителей. Как ни странно, раньше они тоже пребывали в уверенности, что все на свете болезни и несчастья будут обходить их сына стороной, — и вот им тоже пришлось разделить участь других, с чьими детьми случается всякое. Благодарные судьбе за то, что с их ребёнком случилось далеко не самое страшное, в первую неделю после его возвращения они относились к нему, как к божеству, одного простого пребывания которого рядом уже достаточно для счастья: пускай оно целыми днями валяется у себя в комнате с какой-то книжкой, которая, быть может, и не имеет никакого отношения к его профессиональному будущему, — всё равно это в миллионы, в миллиарды раз лучше, чем если бы оно просто исчезло из их жизни. Но на вторую неделю они будто проснулись от дурного сна и ясно осознали, что их сыну ничто не угрожает, более того — что их тревога за его жизнь изначально была преувеличенней. И тогда, — видимо, давно разучившись жить вообще без тревоги, — они окунулись в привычное беспокойство за его дальнейшую судьбу: вступительные экзамены он пропустил, в ноябре ему стукнет восемнадцать, а он как ни в чём не бывало лежит с книжкой, на страницах которой (мама уже успела это заметить) одни столбцы и строфы. Строит ли он свой жизненный план? Или ошибочно думает, что всё сложится само собой?

В пятницу вечером отец вошёл в его комнату, чтобы начать об этом разговор. Парень сразу понял, что отец зашёл не просто так; понял по тому, как, не промолвив ни слова, он пододвинул к его кровати стул и основательно усёлся на нём. От неприятного предчувствия парень ощущал что-то вроде лёгкой тошноты.

Начал отец издалека: сначала спросил о физическом самочувствии, потом поинтересовался насчёт морального состояния: говорят, нередко после перенесённой операции человек испытывает что-то вроде депрессии. Сын отвечал, что чувствует себя хорошо, почти как до аппендицита, да и настроение вро-

де бы нормальное. О стихах он, конечно, говорить и не думал: во-первых, он был уверен, что разговор их не коснётся; во-вторых, он и сам ёщё не до конца понимал, какое значение они приобрели в его жизни, и даже не успел ёщё себе признаться в том, что все послебольничные дни только и делает, что пытается нашупать то нераздельное единство со стихами, которое ощущал в больнице и без которого жизнь казалась ему теперь неполноценной.

Придвинув стул ёщё ближе к кровати (что прямо пропорционально усилило в парне ощущение тошноты), отец мягко, без нажима спросил его, почему (если, по его словам, он так хорошо себя чувствует) он уже вторую неделю проводит в горизонтальном положении. Может, всё-таки что-то не так? Сын повторил, что всё в порядке, и, понимая, что таким ответом отца не удовлетворить, всё же добавил, что просто читает интересную книгу. Он всё ёщё не думал говорить о стихах, о том, что они появились в его жизни как нечто очень важное и серьёзное. Просто решил оправдаться при помощи книги. Но отец уважительно, со словами: «если ты, конечно, не возражаешь», попросил разрешения поглядеть, что это за «интересная книга», и парень не нашёл причин отказать ему.

Отец долго листал «Три века русской поэзии», часто заглядывая в содержание. Парню было непривычно смотреть на то, как отец переворачивает страницы, иногда мимолётно касаясь пальцем языка: кажется, парень никогда раньше не видел его за таким занятием.

Пока продолжалось чтение, за окном пролетел самолёт, оставил на безоблачном розовеющем небе идеально ровную черту, похожую на разрез скальпелем. Парень задумался о том, что эта черта, привнесённая в небо человеком, удивительным образом не уродует, а украшает небосвод.

«Так же и стихи, — сказал себе парень. — Они тоже идеально ровные, как эта полоска, хотя мир, про который они написаны, совсем не ровный. Стихи выравнивают мир».

Междуд тем черта начала медленно распухать, будто вспоротое небо выпускало из себя своё странное содержимое.

— Н-да... — сказал отец, выпрямляясь и расправляя затекшие плечи. — *Что делать нам с бессмертными стихами...*

Он вздохнул (парень не понял над чем) и вернул сыну книгу.

Летний вечер, который до этого казался продолжением дня, в одну секунду стал началом ночи. И отец, и сын сразу это почувствовали. Трудно было сказать, что именно изменилось (быть может, затих на улице неумолчный детский голос, который служил до этого незаметным сердцебиением дня), но воздух комнаты, не освещённой электричеством, наполнился вдруг той тихой печалью, которую испытываешь у постели медленно угасающего человека. Эта печаль располагала к тихому откровенному разговору.

И отец рассказал, что до сих пор помнит даже запах той самиздатовской книжки со стихами Гумилёва, которая тайно ходила по рукам у студентов, когда он учился на третьем, а мама на первом курсе института. Это был тот же строительный институт, куда поступило нынешним летом большинство одноклассников парня и куда ёщё совсем недавно собирался поступать он сам.

— Н-да... — повторил отец и процитировал снова: — *Кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства...*

«*Пищит наш дух*», — хотел поправить парень, но не стал. Он поглядывал на отца с осторожным удивлением. Он и не думал, что в отцовской жизни тоже имела место поэтическая страница. В свете этого неожиданного открытия ему сразу показались странными две вещи: первая — что отец ни разу не заговаривал с ним о стихах раньше, а вторая — что сегодня это обычный инженер-строитель, день ото дня выполняющий довольно скучную работу и больше половины своего свободного времени посвящающий телевизору.

Кажется, отец отчасти угадал недоумение сына и почему-то заговорил после этого с более откровенным назиданием, словно стряхнув с себя печаль идущего на убыль дня и, казалось, даже делая некоторый акцент на том, что эту печаль надо уметь стряхивать.

— Ты, наверное, думал, что я, кроме чертежей, ничего в жизни не видел и не знаю?.. Не-ет, всё было: и стихи, и романтика, и песни у ночного костра. Только мы как-то умели это с делом совмещать. Одно другому у нас почему-то никогда не мешало. Между прочим (да ты, собственно говоря, видел у меня этот шов неоднократно), мне тоже пузо вскрывали. Грыжа у меня была. На картошке вытаскивали из грязи трактор, и я переусердствовал, перед мамой твоей хорохорился. Я тогда уже не только учился, но и работал. И с мамой вовсю встречался. И знаешь — ничего. Отлежал, по-моему, даже меньше положенного, вышел, нагнал институтскую программу, на работу вернулся. И как-то это было совершенно без всякого героизма, в порядке вещей. Так что...

Отец не стал заканчивать фразу, видимо, предлагаая теперь высказаться сыну. Парень понимал, каких именно слов ждёт от него отец: он должен сказать, что такой подход к жизни в порядке вещей и для него, что он тоже не раздувает трагедии из своего аппендицита, что, возможно, отец прав и он действительно переживает после больницы некий моральный упадок, но ёщё денёк-другой — и всё вернётся на круги своя. А ёщё ему следовало сказать о стихах: что стихи — это так, ничего серьёзного. Не думает же отец, что он собирается стать поэтом?

Но почему-то парень ничего этого не сказал. Впервые в жизни он ощущал, что между ним и отцом что-то может вот-вот порваться, если уже не рвётся. И всё-таки он молчал.

Не услышав от сына ни слова, отец был вынужден заговорить с ним прямо, называя вещи своими именами.

— Ну, хорошо. — Стукнув ладонями по коленям, он встал и начал медленно ходить по комнате, иногда останавливалась. — Ты же понимаешь, что ты профукал экзамены?

— Понимаю.

— Понимаешь. Это уже отрадно. Так вот, поскольку у тебя была на это уважительная причина и поскольку я пребывал в святой уверенности, что ты сам горячо заинтересован в получении высшего образования... — На всякий случай отец и на этом месте сделал паузу, но ответом на неё снова было молчание. Тогда он заговорил с возрастающим недовольством: — В общем, пока ты там мужественно превозмогал недуг, я решил как-то поправить ситуацию с твоим поступлением в вуз. Я созвонился и встретился с Игорем Витальевичем Оловянниковым. Ты его должен помнить, он ездил с нами на Оку, это у него тогда лещ огромный леску оборвал и он неумело так матерился; мы ещё смеялись, а он на нас обижался. Так вот, этот Игорь Витальевич давно в институте работает и, в общем-то, не последний там человек. И он сказал мне: «Какие вопросы! Конечно! Поможем парню». Он вообще сказал, что готов договориться с ректором, чтобы тебя зачислили на первый курс без всяких экзаменов. Я, говорит, ни на секунду не сомневаюсь, что парень у тебя хороший, потому что прекрасно знаю *тебя*.

Парень отвёл глаза, готовясь со стыдливой благодарностью принять весть о том, что он уже студент. На самом деле он был бы рад этой вести, и, кажется, отец это почувствовал.

— Я надеюсь, ты не думаешь, что я на это согласился? — спросил он тоном, исключающим возражение.

— Нет, конечно, — соврал парень. — Это уж как-то совсем...

— Вот именно, — немного успокоился отец. — Я сказал, что ты у меня человек серьёзный, сознательный (я действительно так думал и в общем-то продолжаю думать до сих пор), и сказал, что ты, мягко говоря, будешь не в восторге, если узнаешь, что «папочка за тебя похлопотал». Вы, говорю, просто придержите, если есть такая возможность, одно место на бюджете и примите у него экзамен по всем правилам, когда он к вам придёт. Пускай, говорю, как все нормальные люди, тянет билеты и демонстрирует свои знания. Поступит — прекрасно, нет — нет. — «Ладно. Хорошо. Одобляем. Пускай приходит, как поправится. Комиссию какую-никакую сколотим, экзамен примем...» И я вроде как успокоился. Я даже сообщать тебе тогда ни о чём не стал. Пускай, думаю, будет ему приятный сюрприз: вернётся, начнёт переживать, что экзамены пропустил, а я ему тут и скажу, что всё хорошо, иди и поступай. Но я ожидал с твоей стороны хоть каких-то добровольных телодвижений в этом направлении... — Отец изумлённо поднял плечи и выдвинул нижнюю губу. — День проходит. Два. Неделя. Вторая уже к концу подходит — сынок лежит, как Илюшенька на печи, не шевелится...

Парень молча глядел в окно. Самолётная полоса распалась в разные стороны на жидкие изогнутые лохмотья, напоминавшие волокна сахарной ваты. В этих лохмотьях сложно было угадать след человека. Это были простые облака.

Отец поглядел туда, куда смотрел парень, и, видимо, в эту самую секунду смутно догадался, что стихи во всём этом деле играют куда более серьёзную роль, чем он мог предполагать.

— Я вот одного понять не могу: почему *это*, — он указал на книгу и задвигал ладонью у себя перед глазами, как бы стирая пелену заблуждений, — никак не монтируется в твоём представлении с нормальными жизненными устремлениями? В конце концов (если уж ты так крепко увяз в этой своей поэзии), обучение в строительном институте не лишает тебя возможности ни читать стихи, ни даже с успехом их писать. — Подумав, отец решил добавить: — Макаревич, например, по образованию архитектор. Гребенщиков, если угодно, закончил факультет прикладной математики. Людей знает вся страна. Осмелилось предположить, что без высшего образования они бы не достигли таких успехов, потому что высшее образование — это некая интеллектуальная планка, необходимая для совершенно любого вида профессиональной деятельности...

Отец ёщё довольно долго говорил о достоинствах высшего образования, снова присев на стул, а парень наблюдал за опустевшим меркнущим небом. Где-то раз в полминуты он машинально переводил взгляд на отца, чтобы удостоверить его в своём внимании, которого на самом деле не было, и возвращался глазами и мыслями к небу. Отцовские слова казались ему всё менее значительными. Их важность умалялась по мере нарастания их количества, а также по мере прихода ночи. В комнате синело, серело, чернело. Отца уже было жалко. Хотелось спасти его, исчезавшего, съедаемого чернотой.

— Поэтому из-за одной книжки (пускай и хорошей, не спорю) ставить жирный крест на всем своем будущем... — завершал отец почти уже в полной тьме. — Ну... это как минимум опрометчиво.

Он уже без особенной надежды подождал ответа и, как обычно, не дождавшись, спросил:

— Хотя бы в этом ты согласен со мной?

Что-то помешало парню сказать «да».

— Надо подумать, — произнёс он с трудом.

— Подумать? — переспросил отец, как будто не поверив своим ушам. Он нетерпеливо поднялся со стула и усмехнулся сам себе: — А я тут перед ним, дурячок, распинаюсь! — Он опять усмехнулся и внезапно вспылил: — В таком случае, думать будешь знаешь где? В армии — два года! Понял?.. Понял меня?!

— Понял.

— Хорошо, что понял...

Хлопнув дверью, отец вышел из комнаты.

Парень остался лежать в одиночестве. Ему казалось, что тьма, наполнявшая комнату, из домашней снова превратилась в больничную, но мысль о сти-

хах почему-то не приносила той отрады, которую приносила в больнице.

— Плен, — произнёс вслух.

На следующее утро родители услышали, как он накачивает на балконе колёса велосипеда. Они переглянулись и подумали об одном и том же: что желание прокатиться напрямую связано со вчерашним разговором и знаменует собой что-то хорошее, правильное.

Парень вытащил велосипед на улицу, оседлал его и сразу поехал легко, быстро, радостно.

«Как это я сразу не догадался?» — подумалось ему.

И вот он вырывается из синей тени, и солнце уделяет в него. По обеим сторонам дороги распахивается слепящее поле, он резко берёт вправо и скатывается на извилистую тропинку, которая вытягивается вдоль кромки леса, кое-где отрезая от него по одному, по несколько деревьев. Велосипед дребезжит, подпрыгивая на сосновых корнях.

Парень здесь впервые; ещё дома он решил, что будет ездить только по незнакомым местам. Он шурится от солнца и думает о том, как здорово ехать и не знать, когда эта тропинка кончится и куда приведёт; скорее, он даже не думает об этом, а просто живёт этим, захвачен этим целиком, и совсем бы в этом исчез, если бы его щёки, вздрагивая при каждом наезде на корни, не напоминали ему о его лице, о том, что он — это он.

Здесь, между лесом и полем, пахнет по-другому: мёдом, сосновой смолой, тёплым песком и маслятами.

И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета, — строчки появляются в голове не как отрывок стихотворения, а как пророчество, которое сбывается в эту самую секунду.

Он вспоминает свою вчерашнюю мысль, — что стихи делают идеальным неидеальный мир, — и понимает, что был неправ: стихи идеальны только потому, что идеален мир. Даже так: стихи уже содержатся в мире, только в особом, небуквенном виде. Поэт — это человек, который может их записать для людей.

Стихи уже есть... Его ладони моментально вспотевают и начинают скользить по ручкам руля. Он чувствует близость какого-то нового, ещё никем не записанного стихотворения. Он не может назвать из него ни строчки и даже не в состоянии сказать, о чём оно, и в то же время каким-то таинственным образом уже знает его целиком, ощущает его бесспорное, уже готовое существование, как будто эти сосны и это поле без перерыва поют это стихотворение, как собственный гимн, — надо только вслушаться и перевести на человеческий язык. Какую-то долю секунды парень пребывает в совершенной уверенности, что эта задача элементарна, что гораздо сложнее ощутить само присутствие стихотворения, чем записать его, — но уже в следующее мгновение он стоит перед страшным фактом: услышать и записать ничего не получается. Стихотворение есть — но его нет.

«Снова плен», — звучит в его голове само.

Он начинает слепо, на ощупь составлять слова: «Поле. Солнце. Хвойный лес», — но чувствует, что эти слова не вызволяют его из плена, что они — совсем не то, о чём поёт на самом деле всё вокруг. Он испытывает муки бессилия, которые не мешают ему одновременно испытывать счастье.

«Это хорошо, это здорово, что не сразу», — говорит он себе и прощает себе бессилие, принимает его.

Внезапно он оказывается на берегу неширокой реки. Здесь тропинка, по которой он ехал, круто заворачивает влево и, отрываясь от кромки леса, становится полноценной грунтовой дорогой, старательно повторяющей речные изгибы.

Он слезает с велосипеда и, сделав глубокий вдох и сильный выдох, садится на берег в траву. Велосипедное движение ещё не успело прекратиться у него внутри, и кровь глухо постукивает в ушах, а в глазах от неожиданной остановки расходятся тёмные круги; наверное, сказывается больница.

«И это плен», — чувствует он, поневоле выходя из очарования.

Здесь много мошек, от обильной травяной пыльцы чешется в носу, но никак не получается чихнуть; солнце накаляет череп навязчиво, неуклонно. На несколько долгих минут в душе парня воцаряется больничное послеобеденное беспокойство. В эти минуты он — самый обыкновенный житель земли, которому незачем было вчера расстраивать отца из-за каких-то стихов, которому надо решать насущные проблемы, такие же душные, как эти минуты под безжалостным солнцем. Снова ему стыдно, что он настолько покорился стихам: в этом видится детское или женское — явно не мужское.

Но кровь успокаивается, пот высыхает, дыхание становится ровным; небо милостиво проводит по самому солнцу маленькую стаю облаков, которые дают ненадолго ощутить прохладу, — и вот он опять чувствует себя в окружении живого, говорящего мира и ожидает от него новых стихов.

На другом берегу одиноко стоит, касаясь ветвями воды, густая, похожая на круглое облако ива. Кажется, исходящая от неё прохлада ощущима даже на этом берегу. Дерево как будто беседует с ним этой прохладой. За деревом поле, а на самом горизонте — белоснежное пятно колокольни.

И зеленело за рекой девичье поле пред глазами, и монастырь белел святой с горящими, как жар, крестами, — донеслось изнутри, а может, оттуда, издалека.

«Мир — это рай. Я в раю», — думает парень, слыша гудение пчёл, стрекотание кузнечиков и вдумчивый полуденный щебет маленьких птиц. Он уже любит это место так преданно и доверчиво, будто прожил на нём не несколько минут, а несколько лет, и так печально, будто вот-вот должен будет встать и разлучиться с ним надолго, может быть навсегда. Он знает, что это место навсегда вложилось в его сердце, стало его милой внутренней родиной.

Щука, сказочно крупная, выплыла из-под кувшинок и обошла медленным дозором мелководье, с

достоинством шевеля плавниками над светлым песком и не обращая внимания на мелких рыбок, штук пять из которых, не опасаясь стать её добычей, проводили её до глубины в качестве свиты и торопливо вернулись в стаю.

«Что со всем этим делать?» — недоумевает парень.

Он медленно, зачарованно встаёт, поднимает с травы велосипед и не садится на него, а осторожно ведёт его по дороге вдоль реки. Движение в нём усмирилось. Настаёт покой. Он идёт как самый простой путник, ходивший по этой дороге не раз, с той лишь разницей, что идёт он не по обычной земле, а по раю.

Река (а вместе с ней и дорога) совершают кругой изгиб, и на месте изгиба вода рябит и сверкает, как во сне.

В небе тают облака, и, лучистая на зное, в искрах катится река, словно зеркало стальное... — вспоминает парень и счастливо шагает дальше, ощущая кругом вечный праздник.

Глядя по сторонам, он замечает простую, но очень важную особенность этого места: ничто не выдаёт в нём современности. Здесь не слышно машин, не торчат из-за горизонта высотки или дымящие трубы; здесь даже не валяется под ногами броского, ядовито-разноцветного мусора, который безошибочно позволил бы определить эпоху.

«Это место могло быть точно таким же и сто, и двести лет назад», — думает парень, и на короткое время ему представляется, и даже верится, что он чудесным образом прикатил на своём велосипеде в девятнадцатый век — Золотой век русской поэзии. И, может быть, прямо сейчас, и даже совсем неподалёку отсюда, Тютчев додумывает своё стихотворение:

Чудный день! Пройдут века — так же будут, в вечном строе, течь и искриться река и поля дышать на зное...

Он услышал эти строки, увидел их вокруг и спокойно, разве что с маленькой грустью, вернулся мыслями в своё столетие.

Из-за какого-то далёкого извила реки, заслоняя прежде кустарником, показалась и задрожала в горячем мареве фигурка верхом на двух невесомых, как будто из тонкого хрусталика сделанных колёсиках. О том, что она движется, а не стоит на месте, поначалу свидетельствует только переменчивое сверкание колёсных спиц. Парень останавливается, заворожённый картиной, похожей на мираж.

И шестикрылый серафим на перепутье мне явился...

Парень с волнением готовится к уготованной ему важной встрече. Проходит не меньше двух минут, прежде чем ему удаётся разглядеть, что фигурка — женская; он не смог уловить то мгновение, когда это стало ему понятно, поэтому уверен, что это было известно ему с самого начала.

Точно так же неуловимо и изначально известно наступают в его жизни долгие золотые секунды, в течение которых он близко видит ту, что приближалась к нему издалека.

Это девушка в белой косынке, в белой футболке и фиолетовых трико, слегка запачканных краской и дорожной пылью. Из-под косынки на лоб и плечи выбиваются тёмно-русые гладкие волосы. Велосипед её — старенький, скрипучий, кое-где заржавленный, однако кажется весьма прочным из-за того, что девушка, сидя на нём, держит осанку и поднимает свою красивые колени старательно и равномерно.

Парень стоит и неотрывно смотрит на девушку, забыв о том, что это может выглядеть не совсем вежливо, может даже испугать её.

Действительно, на лице девушки отражается волнение: по-особенному розовеют щёки, и смотрит она как-то умышленно не на парня, а на дорогу перед собой. На ровном месте руль её велосипеда неожиданно виляет в сторону, колени ударяются друг о друга, и, едва она оставляет парня позади, закреплённый на багажнике её велосипеда алюминиевый бидон соскачивает и падает в траву. Он громыхнул своей пустотой, и девушка, конечно, это услышала, однако, прежде чем остановиться, она выравнивает руль и отъезжает от парня довольно далеко; вероятно, первым, бессознательным её стремлением было поскорее покинуть это место, пожертвовав бидоном.

Парень видит, как неловко она теперь перетаптывается, пытаясь развернуться вместе с велосипедом, высокая рама которого осталась у неё между ног. На кого-то она в эту секунду очень похожа: то ли на маленькую девочку, которая пытается пройтись в огромных маминых туфлях, то ли на какое-то морское животное — из тех, что так изящны в воде и так беспомощны и неповоротливы на суше.

Он бросил свой велосипед, быстро подошёл к бидону, поднял и, подбежав к девушке, протянул ей вещь. Порозовевшая теперь всем лицом, не глядя парню в глаза, она быстро приняла вещь, суетливо и бессмысленно приставила её к багажнику, быстро придумала, что бидон можно просто повесить на руль, повесила — и вот, сказав парню «спасибо» настолько тихо, что, может быть, и не сказала на самом деле ничего, уже едет, не оборачиваясь, дальше. Её велосипед не позволяет быстро набрать скорость, и парень наблюдает, как девушка, то и дело наклоняясь грудью к рулю, изо всех сил преодолевает сопротивление педалей. Но вот она уже довольно далеко, а вот и совсем далеко — уже едет вдоль леса, той самой тропинкой, по которой недавно ехал он: два крохотных хрустальных колеса, уже, скорее, не хрустальных, а сделанных из тонкой паутины, белая точка косынки и стихающее дребезжание бьющегося о руль бидона... И так это дребезжание уместно, не тягостно, нужно, такое оно летнее, полевое, напоминающее о пасущихся коровах, о молоке, — что, стихнув окончательно, оно всё ещё продолжает звучать в голове памятью, пока кузнечики наконец не заштриховывают его полосками своего неумолчного стрекотания.

— Господи... — говорит парень и снова садится на береговую траву, чувствуя, как и это новое место у

реки навеки становится его милой родиной, вкладывается в его сердце.

По воде побежала рябь, сделавшая реку как будто шире, величественнее и отчего-то печальнее.

Ты, земля, и вы, равнин пески...

Он не может чему-то поверить: то ли тому, что эта девушка здесь была, то ли тому, что теперь её здесь нет.

Перед этим сонном уходящих я не в силах скрыть своей тоски...

Последние две строчки — о другом расставании, гораздо более печальном, чем расставание с девушкой, но парень чувствует, что они по-своему уместны и теперь.

Смягчилось, а потом и спряталось солнце, — кажется, надолго. Кузнечики примолкли. Рябь разгладилась. Воздух стал более нежный, как бы жалостливый к парню, готовый внимательно слушать его сердце. Над потемневшей водой бесшумно задвигались светлые мошки. Иногда одна из них ненадолго прилипает к реке и распускает на глади маленькие круги. Подрагивает в воде камыш — тоже бесшумно. Висит в воздухе блаженное, онемевшее летнее тепло.

— Как же я теперь без неё, — произносит парень в совершенную тишину. Он бросает в реку травинку, которая пронзает гладь с каким-то дождливым звуком, и падает спиной на пахучую траву. Ему теперь есть, *стало* о ком сказать: «Как же я теперь без неё». И он произносит другие слова:

— Хорошая моя. Красивая. Как же я тебя люблю.

Он понимает, что это — большие, серёзные слова; быть может, слишком большие и серёзные, чтобы так просто выпускать их в небо. Он ведь совсем ещё не знает жизни, он даже ни разу ещё по-настоящему не целовался. И всё же он отчётливо сознаёт, что имеет полное право на эти слова. Откуда-то ему известно, что, когда они произносятся впервые, они ещё не обязаны обладать своим полным весом; их первая задача — расправить, высвободить внутри человека правильное просторное место, которому ещё предстоит наполниться живой кровью. И парень продолжает творить, устраивать в себе это место.

— Милая, — произносит он. — Светлая. Любимая.

Ему кажется, что сегодня — самый первый день его жизни и что вся эта жизнь будет похожа на этот день. Если бы кто-нибудь сейчас сказал ему, что такого счастья, как сегодня, он уже не испытает никогда: будет искать его — и не найдёт, будет жадно ловить его отблески, отсветы, дуновения, каждый раз обманываясь надеждой снова получить целое, а при слове «счастье» будет воображать лишь этот день, больше ничего, — он, конечно, не поверил бы.

Он мысленно оглядывается в прошлое, — быть может, впервые в жизни, — и ощущает страх оттого, что он мог так и прожить до самой смерти, не испытав того, что испытывает сегодня.

Он думает: как же он жил раньше? Неужели он никогда не бывал на природе, не видел красивых де-

вушек? Бывал, видел, отвечает он себе. Просто он воспринимал всё это, как... как маленький ребёнок воспринимает деньги. Для ребёнка деньги — это простые бумажки с рисунками. Ребёнок не понимает, что эти бумажки не просто бумажки, что в них есть какой-то другой, небумажный вес...

Сравнение с деньгами кажется ему точным. Разве что в самом сопоставлении денег и прекрасного есть какое-то несоответствие. Ведь в пренебрежительном отношении ребёнка к деньгам тоже есть что-то возвышенное, чем можно восхититься.

Парень понимает, что ему ещё только предстоит привести мир своих метафор в порядок — так, чтобы одно всегда сходилось с другим...

— Молодой человек, — долетает до него с дороги женский голос. На слове «молодой» сделано какое-то укоризненное ударение, будто голос намеревается напомнить о своих ущемлённых правах.

Парень привстает, оборачивается и видит толстенькую, коротко постриженную женщину с рюкзачком за плечами. На ней джинсы в обтяжку, показывающие, что она с удовольствием принимает своё тело таким, какое оно есть. За её спиной стоит, наверное, её дочь — девочка лет пятнадцати, по-мальчишески худая, с очень миленьким, сладко красивым лицом и выющиеся распущенными волосами. На девочке голубые джинсовые шорты с бахромой и чёрная футболка с реалистичным изображением голубого единорога, который встал на дыбы в вихре звёзд. У обеих путешественниц руки на рулях одинаковых велосипедов, и смотрят они на парня одинаковыми ожидающими взглядами, как на фотоснимке.

— Молодой человек, — повторяет женщина. — У нас ЧП. Выручайте. Вот...

Она отступает на шаг, и дочь послушно выходит на передний план, а затем, после лёгкого толчка мамы, подвозит свой велосипед к парню. Парень встает с травы и тут же присаживается на корточки. Он видит, что с велосипедом всё в порядке, просто со звёздочки соскочила цепь.

Девочка принесла с собой запах фруктового шампуня и чистого тела. Ощущив этот запах, парень не-надолго поднимает взгляд от загорелых коленей девочки к её лицу. Девочка улыбается, — видно, что не ему и не о нём, а, наверное, просто от привычки улыбаться, оттого, что нет причин не улыбаться. В такой улыбке тоже кроется красота. И даже в том, что девочка время от времени шмыгает носом и из-за насморка её аленький рот всё время приоткрыт, тоже кроется красота.

«Могла бы она так же ехать по полю одна, как *той*? — быстро соображает парень. — Вряд ли. Скорее всего, мама не пустила бы её. Да она бы и сама не хотела. Ей было бы скучно одной. А *той* не скучно. *Той* хорошо с полем, с рекой, с самой собой. Господи! Какая она прекрасная. Неужели я её больше не увижу? Неужели мы не поговорим, не будем вместе?»

— Доктор, не томите нас, — говорит женщина. — Скажите: пациент обречён или есть надежда?

Девочка на секунду оборачивается к маме с той же улыбкой — и с той же улыбкой поворачивается обратно к парню.

— Вскрытие покажет, — подыгрывает парень женщине, вставая с корточек, и девочка снова на секунду оборачивается к маме; ей интересно узнать мамины реакцию на слова парня. При каждом повороте головы её волосы красиво вздымаются и опадают, напоследок коротко качнувшись из стороны в сторону. Быть может, она отчасти для того и вертит головой при каждом удобном случае, чтобы непрестанно рождалась от неё эта нехитрая, но единственная красота.

Парень приподнимает заднее колесо её велосипеда, зацепляет пару звеньев за звёздочку и, крутанув рукой педаль, моментально ставит цепь на место.

— Вот, в принципе, и всё. Жить будет, — выносит он заключение, быть может, лишь для того, чтобы ещё раз увидеть движение прекрасных волос, которое незамедлительно и видит.

— Ой, ну что бы мы без вас делали! — восклицает женщина с такой преувеличенней благодарностью, что сразу не верится в её серьёзность. — Такие люди, можно сказать, на дороге валяются! А чем вы, если не секрет, занимаетесь? Ну, то есть вообще, по жизни?

— Я художник, — отвечает парень, почему-то не чувствуя в своём ответе никакой лжи.

Снова стремительный взмах девочкиных волос.

— Худо-о-ожник? — Женщина вытягивает своё круглое лицо, и опять невозможно поверить, что она действительно удивлена. — И можете починить велосипед? Ну вы просто уникум! Вы кто по знаку зодиака?

— Стрелец, — отвечает парень не сразу, стыдясь немного, что знает о себе такие вещи.

— Стрелец! Так я и знала! Всё! Вы обязаны прийти к нам сегодня в гости. Правда, заяц?

Девочка снова совершает своё движение, на этот раз показавшееся парню уже немного навязчивым, и мелко кивает, как бы говоря: «Да, да, да, ты правиль но поняла. Он классный».

Внезапно женщина скривляет гадливую гримасу, удивительным образом сжимая все части своего лица в такую маленькую кучку, что и не разберёшь сразу, где у неё теперь нос, где рот, а где глаза.

— Ой, ну я ведь уже умоляла тебя слёзно, кошечка моя, не шлындать носом! Что подумает художник? Что ты девочка-даун. У тебя же не написано на майке, что ты у меня свободно говоришь на английском и французском, занимаешься танцами и пишешь стихи.

Парень чувствует себя обязанным отдать дань удивления разнообразным способностям девочки. Выпятив нижнюю губу, он качает головой, как бы признавая: «Да. Ничего не скажешь — хороша».

— Да, мы такие, — приближается женщина к дочери и, запуская пятерню в волосы на её затылке, чешет её сильно, как зверька. — Умные, красивые.

Только у дасдасборк и бы дебдожечко двигаеб дособ. Да, зайчон?

Теперь девочка смотрит с обворожительной, чуть наглой даже улыбкой прямо в глаза парню. Такое впечатление, что через руку матери ей передалась недостающая для этого смелость.

Мать рассказывает спокойно, мирно, именно так, как рассказывают что-нибудь, глядя маленького домашнего питомца, который гнездится на коленях:

— У нас коттедж в СНТ «Черёмуха». После церкви сразу налево и до шлагбаума. Четырнадцатый участок на первой линии. Вы не перепутаете: там кругом одни сараи, единственный приличный дом — это наш. — Она смотрит на работу своей руки в волосах дочери, сильнее увлекается этой работой и начинает мощно массировать девочке шею. — Вот только съездим в город по делам... купим то-ортик... шампана-анского бутылочки... Правда, рыба?.. — Она уже говорит с лёгкой одышкой. — А у нас хорошо... Малина... смородина... клубника ремонтантная... прудик свой... всё очень даже... часиков в пять приезжайте... всё увидите...

Вдруг она, как бы несколько раздражившись на дочь за тот лирический гипноз, в который невольно погрузилась, глядя её и массируя, толкнула легонько девочку в шею.

— Так, всё, давай целуй художника — и поехали.

Тонкими пальцами девочка медленно убирает волосы за уши и, чуть вытянув голову вперёд, смотрит на парня с озорным стыдом.

— Давай, давай, не ломайся, — подбадривает мама. — Одной клубникой нормального мужика в дом не заманишь. Мужчине нужно другое — сама знаешь что.

Девочка протягивает к парню руки над рамой своего починенного велосипеда, берёт его ладонями под подбородок, словно собирается осторожно снять с него голову, притягивает его лицо к своему и прикасается губами к его губам. Парню начинает казаться, что она и вправду сняла с него голову.

— Так, не увлекаться, — словно приклеивает мама голову на место, и девочка медленно («позвролому», подумал парень) отрывается от него свои губы и отдаляется от него лицо. Глаза её как будто пьяны. Она снова проводит пальцами за ушами, хотя с волосами её ничего плохого не успело сделаться, и парню нравится бесполезность этого её движения.

— Вот, если приедет в гости, тогда оставлю вас вдвоём — будете целоваться сколько хотите. А сейчас поехали. В женщине должна быть недоговорённость.

Мать и дочь синхронно седлают велосипеды.

— По крайней мере, насморком мы его уже наградили, — балагурит напоследок мама, и, заливисто смеясь, обе женщины, большая и маленькая, трогаются с места.

Когда они набирают ход и отъезжают достаточно далеко, девочка стремительно оборачивается и смотрит на парня с победной улыбкой, будто он — смеш-

ной снеговик, которого она только что слепила. Ей, несомненно, доставляет удовольствие, что парень всё ещё стоит как вкопанный, глядя ей вслед, и она ещё раза два оборачивается, чтобы снова получить это удовольствие, — а заодно и взмахнуть лишний раз волосами.

Потеряв их фигуры из виду, парень поднимает с земли свой велосипед и медленно продолжает пеший путь вдоль реки. На губах его будто осталась вмятина от губ красивой девочки, как если бы его губы были из воска, а её — из горячего металла.

«...Будете целоваться сколько хотите»... При воспоминании об этих словах по телу его пробегает дрожь.

«Одни, без всех, — произносит он про себя совершенно безвольно, — где-нибудь в листьях, на качелях, долго, сколько хотим».

Он с опасением вглядывается в себя и проверяет, что теперь стало с *той* — милой, любимой, светлой, — и с облегчением видит, что она никуда не исчезла.

И снова в окружающем мире чувствуется присутствие ещё никем не написанных стихов. Это стихи о *ней*. О ней теперь стало гораздо легче говорить, потому что появилась *другая*, а вместе с ней и все *другие*, которые ещё будут.

— В чужих объятиях забывал... — бормочет парень, не понимая, что говорит вслух. — Но ты... ты и тогда была со мною... Как будто на меня смотрели твои печальные глаза... Всё испытав и разуверясь... Я снова на исходе дня... ересь... вереск... надеясь... Не знаю, примешь ли меня...

«Нет, слишком много всего, — понимает парень. — Чуть поменьше. Сегодня надо просто... прожить. Это только начало».

Он внимательно смотрит вокруг. Странное освещение настало в природе. Там, наверху, наверное, сильный ветер: облака стремительно пролетают мимо солнца, то и дело скрывая его, и по тёплому полю прокатываются их могучие тени. Кажется, что это не тени облаков, а самостоятельные облака земли.

Ивы и кустарники показывают бледную изнанку листвы, и не то с неба, не то с реки обрызгивают парня холодные капли. Сухой травяной клубок катится за ним вдогонку и, едва поравнявшись с человеком, смиленно распадается на отдельные стебли. Парень садится на велосипед и едет.

Едет он долго, неотступно следя за прихотливыми изгибами реки и наблюдая за тем, как храм, бывший вначале далёким белым пятном, вырастает, обретает всё более подробные очертания. Парень начинает видеть протянувшееся от храма село, потом видит деревянные леса, которыми обстроена колокольня. А вон пёстрое, густо заставленное крестами кладбище. А вот деревянная хозяйственная постройка, чернеющая дверным проёмом и окружённая россыпью опилок и колотых дров.

Оказывается, храм стоит на другом берегу реки. С этого берега к нему перекинут ветхий дощатый

мост. Парень идёт по мосту и останавливается над рекой. К опорам прибились водоросли, и можно очень долго смотреть на то, как их треплет течение.

Снова воцарилась тишина. Приходит сонное, самое жаркое время дня. Редкие облака двигаются по небу медленно, лениво, не пересекая солнце. Всё стало настолько горячим и ярким, что потеряло цвет и кажется обмороочно-тёмным.

Высокий священник в чёрном подряснике бодро выходит из храма и останавливается возле человека в тёмной, совсем не летней одежде, опершегося на чепенок какого-то хозяйственного инструмента. Человек, видимо, ждал священника. Оба оживлённо жестикулируют, о чём-то спорят, как вдруг священник движением руки зовёт к себе парня. Парень вопросительно показывает пальцем себе на грудь, священник кивает — «да, ты» — и уверенно повторяет зовущее движение.

Парень подкатывает велосипед к беседующим.

Священник — черноволосый и чернобородый — осеняет парня крестом, кладёт большую тяжёлую ладонь на его голову.

— Вот тебе будет помощник, Матвейка. До всеобщей стожок соберёте. Как ты, брат? Не возражашь потрудиться во славу Божию? — обращается он к парню, только сейчас убрав руку с его головы.

Парень медленно пожимает плечами.

— Или есть дела поважнее? — без осуждения спрашивает священник.

— Да, в принципе, нет.

— Ну и спаси тебя Христос. Сейчас Матвейка тебя снабдит инструментом — и за дело. С Богом, ребята.

Он уже направляется к хозблоку, по дороге снимая с себя подрясник и становясь крепким широкоплечим мужчиной с красивой узкой талией, в майке, заправленной в коричневые шерстяные брюки, в ременные петли которых почему-то продета верёвка. Парень остаётся наедине с Матвейкой.

Матвейка — человек неопределённого возраста с изувеченным лицом. Одну его глазницу, в которой то ли есть глаза, то ли нет, целиком закрывает набухшая оттянутая бровь. Нос как будто вбит в лицо двумя ударами топора и выдаётся на конце одной-единственной, да и то набок скошенной, кнопкой. Нижняя губа тоже скошена, причём в противоположную от кнопки сторону, и налезает на верхнюю, выворачиваясь глянцевой розовой изнанкой. Кожа у Матвейки коричневая, как подгнившая груша, и в складках её местами что-то белеет. Только волосы у него на удивление здоровые, густые, разве что серые от седины и растрёпанные, как перья старой птицы.

Он всё ещё опирается на грабли и еле заметно мотает головой, глядя на то, как священник копается в темноте хозблока с бензопилой. Единственный его видимый глаз напоминает одинокое крохотное оконце в стене уродливой башни, по скрому свету которого только и можно судить, что внутри этой башни ещё теплится какая-то жизнь.

— Да-а... лихо-ой поп Андрюшка, — шамкает он слова с бульканьем на многих звуках, сплёвывает в сторону паперти и, опершись на грабли сильнее, по-деловому ставит ногу на ногу. — Хочет всё — и сразу.

— Там сказали про какой-то инструмент, — тихо напоминает парень, почему-то боясь огорчить священника затянувшимся бездействием.

— Да погоди ты, не убежит. — Матвейка напряжённо сплёвывает ещё раз, не переставая наблюдать своим глазком-окошком за действиями священника. Он медленно закрывает и открывает этот глазок, и тогда парень замечает на его верхнем веке полу-стёртую татуировку, неизвестно что изображающую.

Наконец священник отвлекается от починки бензопилы и с удивлением обнаруживает, что его работяги не сдвинулись с места.

— Вы чего? — спрашивает он без злобы, распрымляясь в дверном проёме.

— Как же я ему грабли дам, батюшка, если вы их сами после службы Серафиме отдали?

Когда Матвейка пытается говорить громко, его бульканье заметно усиливается и почти бесследно растворяет в себе слова. Но отец Андрей понимает его мысль.

— Серафима... Серафима... Милая моя... — приговаривает он задумчиво, то хватая, то отпуская свою угольную бороду. — Забрала ты, бабушка, грабли у меня...

Посреди размышления он одаривает Матвейку коротким проницательным взглядом, как бы удивляясь уважительно его таланту оттягивать начало работы так, что не придерёшься. Но и парню, и Матвейке ясно, что без работы они не останутся, что священник найдёт выход из положения.

— Хорошо...

Он скрывается в хозблоке, чем-то довольно долго там гремит и наконец выходит на улицу с новенькими граблями в руке. Грабли эти — необычные, крашеные, сделанные в виде веера из тонких полосок стали.

— Вот. Матушкины. Прошу не ломать — ибо убьёт. Причём не вас, а меня.

Новые грабли вручаются Матвейке, а Матвейкины переходят к парню. Почесав голову и не найдя, что ещё сказать, батюшка возвращается к бензопиле. Матвейка, не говоря парню ни слова, отправляется к месту работы. Парень оставляет велосипед и идёт за ним.

Они идут сквозь кладбище. Матвейка спокойно продолжает сплёвывать по сторонам, иногда попадая на чью-нибудь могилу. Парень начинает думать, что только безысходность, только животная жажда выжить могли прибить этого человека к храму. Парень оборачивается к храму: здание видится ему таким же угрюмым и тесным, как жизнь Матвейки.

«Плен», — вспоминает парень, однако продолжает покорно следовать за сутулой Матвейкиной спиной.

Кончается кладбище, за которым — поле. Одно от другого отделяют растущие в ряд ивы, высокие,

посаженные, видимо, очень давно. Под одну из них Матвейка тут же садится, положив грабли на кучку кладбищенского мусора. По хорошо примятой траве видно, что место это насиженное. Матвейка долго рассматривает свой инструмент, а затем изрекает со своим бульканьем:

— Это разве грабли? Спиночёска какая-то.

Парень улыбается.

— Есть чё покурить? — забывает о граблях Матвейка.

— Не курю, — разводит руками парень.

Матвейка достаёт из внутреннего кармана рабочей куртки мяту пачку и достаёт из неё последнюю сигарету. Кидает скомканную пачку в поле, закуривает.

— В такую жару разве можно работать? — спрашивает он кого-то и, выпустив дым разом из кривого носа и кривого рта, сам отвечает: — Если только на зоне.

Заводится за кладбищем бензопила и начинает нудно реветь. Матвейка затягивается часто, чтобы как можно меньше дыма ушло в воздух, миновав его лёгкие.

— Я б такой, чтобы дёрнуть отсюда.

— Куда? — спрашивает парень.

— Куда... — передразнивает Матвейка. Сигарета уже выкурана, он отвратительно выдавливает на углёнок слону и кидает окурок туда же, куда кинул пачку. — Есть места...

— А что удерживает?

Парень думает, что Матвейка передразнит и этот его вопрос, но Матвейка не так предсказуем.

— Кормёжка удерживает, койка удерживает, — отвечает он обстоятельно и серьёзно, видимо высказывая парню то, что высказывает сам себе по многу раз на дню. — И лавэ на билет Андрюшка обещал.

Вдруг Матвейка воровато оглядывается по сторонам, похожий на маленького хищного зверя, в каждом движении которого сказываются одновременно две заботы — поймать добычу и самому ею не стать. Убедившись, что всё тихо, он запускает руку в кладбищенский мусор и извлекает оттуда полуторалистровую пластиковую бутылку, заполненную на треть чем-то прозрачным и бесцветным, как вода. Встряхивает жидкость, отвинчивает крышку и делает глоток. После глотка надувает щёки, отчего кривая нижняя губа выворачивается ещё сильнее. В завершение уютно причмокивает.

— На, — предлагает он бутылку парню, не протягивая руку слишком далеко; видимо, одолжение и без того не по чести большое.

Отчего-то парень чувствует, что отказ невозможен, и, нагнувшись к Матвейке, принимает бутылку. Он боится оскорбить этого человека, протерев горлышко бутылки майкой, и, чтобы победить брезгливое чувство, бездумно, не разбирая вкуса, делает несколько больших глотков.

— Э, э... — останавливает его Матвейка.

Парень отрывается от бутылки и лишь теперь понимает, что он только что впервые в жизни выпил

крепкого, горючего алкоголя. Он чувствует во рту обильный приток слюны, сдерживает рвотный спазм, а затем с моментальным облегчением ощущает, что тело приняло напиток. Жара, царящая в природе, теперь воцарилась и внутри. Глаза парня, которые как-то сразу расслабились и затуманились, ищут прохлады и находят её рядом с Матвейкой, с самого начала мудро избравшим место под деревом. Парень хочет подсесть к нему, хочет, быть может, даже пооткровенничать с ним, положить ему руку на плечо, доказав, что ничуть не брезгует им, но, как ни странно, именно в этот момент Матвейка поднимается, чтобы приняться за работу.

— Надо побатрачить, — говорит он, презрительно потряхивая своей «спиночёской». — А то без курева тоскливо совсем.

Он удаляется в поле и сразу, будто не начал, а продолжил давно начатое дело, принимается за работу. Трудится он не очень складно, не так, что залюбушся, и всё же движения его полны уверенности. Видно, что жизнь приучила его браться без раздумий за самые разные виды работ, хоть ни в одном из них, наверное, не позволила ему по-настоящему преуспеть.

Парень оглядывает прямоугольный участок поля со скошенной травой, которую предстоит убрать, и понимает, насколько нестрогий человек отец Андрей и насколько смешной человек Матвейка: участок совсем маленький, двадцать на двадцать метров, не больше.

Чтоб не мешать Матвейке, парень удаляется в дальний от него угол участка и тоже начинает возить граблями по полю. По примеру Матвейки он собирает траву в кучки, кучки сгребает в охапки, а охапки сносит в середину участка, пополняя таким образом стог.

Вскоре хороший трудовой пот покрывает его тело, как смазка, необходимая для полноценной работы механизма, и парень трудится с блаженным отсутствием мыслей, не задумываясь о том, что делает, но делая всё правильно. С каким-то замороженным интересом он слушает своё дыхание, то попадающее в такт его движениям, то выпадающее из такта. Погружаясь в работу ещё безогляднее, он замечает, что при выдохе слегка округляет губы, тем самым достигая глухого, не до конца прорезанного свиста, при помощи которого исполняет себе какую-то глупую, случайно привязавшуюся мелодию.

Он мимоходом оглядывается на Матвейку и не может сдержать улыбку, видя, как тот со смешной яростью обрушивает свою «спиночёску» на поле и, видимо, подыскивает про себя новые язвительные имена для этого инструмента.

Через несколько минут, оглянувшись на Матвейку ещё раз, парень видит его неподвижно стоящим в поле. Руки Матвейки осторожно сложены на верхушке черенка — хорошенко опереться на грабли ему не даёт предупреждение отца Андрея.

Неожиданно парень чувствует к Матвейке то же самое, что он чувствовал к тем местам у реки, где ему сегодня приходилось останавливаться: этот человек

уже не чужой ему и никогда не будет чужим, он всегда отпечатался в его сердце и тоже стал его милой родиной. Парень снова ощущает рядом присутствие стихов — каких-то новых, не о любви, не о лесе, а, наверное, просто о человеке, — но он уже не пытается услышать слова этих стихов. Ему достаточно знать, что стихи есть, что они снова рядом.

— Не гони, — говорит Матвейка, скрупым движением убирая пот с набухшей уродливой брови. — Работа не волк. Раньше сделаем — Андрюшка ещё что-нибудь придумает.

Парень неосознанно перенимает Матвейкину позу. Видимо, Матвейка с удовольствием присел бы сейчас под деревом и закурил, но, поскольку сигарет нет, он решает ещё поговорить.

— Так-то нормальный мужик Андрюшка. Я его *так* называю про себя. (Какой он мне отец? Это я ему в отцы гожусь.) Никогда не крикнет. На сигареты даёт. Что, говорит, с тобой сделаешь, Матвей Семёныч, с курякой. Только, говорит, если узнаю, что вино покупаешь, больше давать не буду. — Матвейкино лицо преображается в нечто, что означает улыбку. — А я и не покупаю. Мне Серафима самогон приносит. Я у ней на огороде тоже помогаю, вот она и даёт. Она вдова, давно муж помер. Оставайся, говорит, у меня. Я уж не женщина, да и ты не мужчина. Так, говорит, — будем друг друга подпирать.

— А ты что?

Парень думал обращаться к Матвейке на «вы», а почему-то сказал «ты» и понял, что сказал правильно.

— А я что... — не передразнивает, а просто подхватывает Матвейка. — Спасибо, говорю, Серафима. Только это в тебе что-то не твоё говорит. Не верю я, чтобы тебе такое чучело в доме понадобилось. Что-то здесь, говорю, не так. Хочешь Боженьке уснуть, наверное. Грешки замолить. Не-ет, говорю, не пойдёт, извини. Какой я ни есть, а я не пёс, чтоб меня с дороги подбирать. Мне свой, собственный угол нужен.

На словах «свой, собственный» Матвейка два раза тихонько бьёт себя в грудь, и лицо его моментально холдеет от достоинства, причём происходит это за счёт какой-то неуловимой перемены в его одиноком глазке.

Он берётся за грабли и потихоньку пробует ими землю, вроде бы возвращаясь к работе. Парень поступает так же, однако Матвейка снова отставляет грабли, и парень снова невольно повторяет за ним.

— Знать бы только, жив он или нет, в тюряге или на свободе, — задумчиво булькает Матвейка.

— Кто он?

— Сын мой. Такой же вот, как ты. Только старше лет на пятнадцать. Может, он и говорить со мной не станет. Плюнет мне в рожу — тыфу, скажет, не отец ты мне — и весь базар.

Бензопила за кладбищем умолкает. Парень чувствует, как день начинает медленный поворот к вечеру. Он чувствует это по слабому рыжеватому оттенку, который вкрадся в белизну колокольни, не-

смотря на то, что небо всё ещё полуденно-голубое, без единой вечерней краски, а ещё по особому не-объяснимому умиротворению, вдруг разлившемуся в воздухе. Всё вокруг как будто перевело дух, вытерло пот со лба и сказало: «Ещё не конец, но самое трудное уже позади».

Не сговариваясь, собеседники разбредаются по своим углам и начинают заново входить в работу. Это даётся сложнее, чем в первый раз: пот уже как будто весь вышел и движения выходят сухие, одиночные, несмазанные, но в целом работается приятнее, потому что пламя жары отошло и большая часть работы уже сделана.

Наконец заброшены на стог последние охапки. Стог — парню по грудь, Матвейке по шею. Оба любуются результатом работы — горой сена и убранным, гладким участком поля.

Неожиданно возникает из недр кладбища отец Андрей. Брюки у него жёлтые от опилок, в руках — два белых пластиковых стаканчика с чем-то тёмным внутри.

— Сдюжили? Вот молодцы! Спаси Христос! — благодарит он работников и вручает каждому по стаканчику. — Витамины за труд.

Парень смотрит в стаканчик — там черника, крупная, как бы покрытая инеем.

— Изжога у меня от неё, — капризно объясняет Матвейка, будто уже не в первый раз.

— Изжога у тебя от другого, — говорит священник. — Ешь.

Он ухватывает из Матвейкиного стаканчика щепотку ягод и, задрав голову, закидывает их разом в свой белозубый красивый рот.

— Черники в этом году... — сообщает он, жуя. — Стрекоза Андреевна — целый жбан за полтора часа набрала. И ещё поехала...

Чему-то вздохнув, он направляется в сторону храма и договаривает, уже как бы себе самому:

— Прогульщица. Опять одним старухам всеношнюю петь...

Парень забрасывает чернику по одной ягодке в рот, смотрит священнику вслед и как будто продолжает слышать его голос. Этот голос хочется слышать ещё. Так приятно, что священник говорил с парнем и Матвейкой как с близкими, важными людьми. Эта его неуместная доверительность, то ли женская, то ли детская, никак не сходится с его мужественным обликом.

Парню нравится отец Андрей.

— Давай, — говорит Матвейка и протягивает руку, чтобы забрать у парня грабли. — Сейчас отнесу — пойду в село сигареты стрелять. Без курева повеситься можно.

Он уходит дорогой отца Андрея, скрываясь среди крестов и оград.

Парень не знает, что ему теперь делать. Подумав, он решает вернуться к своему велосипеду, но не кратчайшим кладбищенским, а другим путём — обогнув храм полем.

Он поднимает голову, смотрит на храм и испытывает одновременно два непохожих ощущения. Одно — что перед ним довольно жалкое здание: штукатурка, облупившаяся местами до кирпича, леса, похожие на аппарат Илизарова (он видел такой аппарат на ноге у одного человека в больнице). А другое — что перед ним инопланетный космический корабль, в котором всё, что кажется созданным просто так, для красоты, на самом деле имеет какое-то гораздо более важное, таинственное назначение.

По пути он видит усыпанную щебнем дорогу, в конце которой виднеется красно-белый шлагбаум, и видит за этим шлагбаумом солидную черепичную крышу дома «на первой линии», выдающуюся из ряда низких и заржавленных дачных крыш. Почему-то при мысли, что он может сегодня оказаться в этом доме, ему становится не по себе. Он поскорее уходит от этой дороги и через минуту оказывается у раскрытых дверей храма, невдалеке от которых лежит его велосипед. И что-то заставляет его войти в храм.

В храме прохладно, пусто, сумеречно. Стены без росписи, и икон на них совсем немного. Несколько старушек стоят в разных концах у подсвечников, что-то непрестанно и бесшумно делая со свечками и лампадками. Парень выбирает место поближе к дневному свету, неподалёку от маленького вытянутого окна, прямоугольного внизу и полукруглого сверху.

Из алтаря раздаётся голос священника, и, словно проснувшись, ему откуда-то сверху отвечают вразнобой дрожащие старушечьи голоса:

— А-минь...

Не сразу и понятно, что это было пение.

Священник снова что-то произносит (или поёт?) и просто, как из дома, выходит из далёкого алтаря, звена дымящимся кадилом и сверкая облачением.

Старушки-прихожанки сходятся к центру храма. Парень считает их — их всего восемь. Одна подманивает его рукой, призывая стать девятым в их кучке. Он повинуется.

Внезапно начинается довольно стройное пение. Оно будто не церковное, а простое народное. До парня доносятся слова:

— Благослови, душа моя, Господа... Благословен еси, Господи... На горах станут воды... Дивна дела Твоя, Господи...

Эти «горы» и «воды», о которых поётся в тихом неподвижном сумраке, создают в душе парня какой-то особый, неизвестный ему прежде уют. Он как будто видит весь мир изображённым на детском рисунке.

Отец Андрей обходит храм, наполняя его ароматным густым дымом. Парню кажется, что Господь, создавая мир, тоже мог пользоваться таким дымом: вот совершенная чернота, нет ничего; вдруг появляется этот дым — и когда он рассеивается, уже видны земля, небо, деревья, звери.

— Посреде гор пройдут воды... Дивна дела Твоя, Господи... Вся премудростию сотворил еси... Слава Ти, Господи, сотворившему вся...

Парень крестится вместе со старушками. Священник возвращается в алтарь, старушки расходятся на свои посты у подсвечников, парень отправляется к своему месту у окна.

Вскоре он слышит новое песнопение, почему-то уже совсем не такое уютное, как первое.

— Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых... — скорбно затягивают старушки, дрожа головами, как треснутые скрипки. — Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя... Яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя... Работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя...

На словах «погибнет» и «со страхом» старушки у подсвечников крестятся и кланяются с особым усердием.

Парень пытается связать это песнопение с первым — и не может. Ему непонятно, почему Бога, который с такой любовью создал мир, надо бояться и почему чей-то путь должен погибнуть.

— Свете тихий... — слышит он новое и сосредоточенно затихает, надеясь именно в этом песнопении найти связь между двумя предыдущими. Не все слова ему удаётся расслышать, а из тех, что удаётся расслышать, — не все ему понятны. Но вдруг одна фраза выстrelивает из пения и сразу застrevает у него в сердце:

— Пришедшe на запад солнца, видевше свет вечерний...

Он взглядывает в окошко, у которого стоит, и видит за ним мир, ограниченный оконным проёмом, как картина — рамой. В окружном верху этой картины пухлые неподвижные облака, уже успевшие прозоветь, внизу — вечернее поле со множеством розовых тропинок, с пушистыми деревьями, сверкающей мошкой, — и где-то совсем вдалеке пасутся пятнистые коровы.

Знаю я, что в той стране не будет этих нив, затающихся во мгле...

Внезапно до парня доходит какой-то горький, похоронный смысл всего существующего, а вместе с ним и знание, что без этого смысла невозможны и стихи.

Он сразу начинает беззвучно рыдать. Плечи его прыгают, как не принадлежащие ему. «Что со мной?» — спрашивает он себя, не в силах остановиться. Никогда раньше рыдание не действовало в нём настолько самостоятельно, независимо от него.

Не понимая толком, что делает, он выходит, почти выбегает из храма. Тёплый уличный воздух сразу успокаивает его, и тогда он догадывается, что, быть может, следовало остаться. Но вернуться уже очень сложно, почти невозможнo.

Из пелены слёз выплывает сидящий на корточках темнолицый Матвейка. Глаза парня начинают высыпать.

— Ты чего? — спрашивает Матвейка.

Парень стыдливо пожимает плечами.

— А-а... — понимает Матвейка — Прошибло? — Он сплёвывает, и парень видит, что перед ним наплё-

вана уже целая лужа. — Меня вот только никак не прошибёт...

Матвейка закуривает.

Парень вглядывается в день, смотрит на небо. На небе не видно ни облака — и всё же оно не ясное, не голубое. В тёплом воздухе застыло ожидание.

— Что-то будет... — понимающе говорит Матвейка и кивает на пиленные и колотые дрова. — Придётся всё в сарайку сносить.

Видимо, Матвейка уверен, что и это дело они будут делать вместе, но парень уже не слышит его: взгляд его направлен в сторону мест, которые предстали перед ним в окне храма. Шапки и в заслоняют обзор, ему хочется пойти и отыскать то окно со стороны улицы, чтобы повернуться к нему спиной и снова взглянуть на эти места. Но он не идёт, потому что боится не увидеть того, что видел. Он почти уверен, что не увидит этого.

Он поднимает с земли велосипед и медленно, придавленно движется к мосту.

— Уходишь? — спрашивает Матвейка и сразу одобряет: — Правильно. Я тоже дёрну, как смогу.

Парень переходит мост, садится на велосипед и едет.

Отъехав достаточно далеко, он оглядывается и видит храм таким, каким уже видел его, подъезжая. Храм стоит молчаливо, как и тогда, но теперь парень знает: там, внутри, продолжается сумеречное и терпеливое общение людей с непостижимым, странным, божественным. Ему становится на мгновение горько, что он не с ними; может быть, сразу после его ухода под сводами храма зазвучали те слова, которые могли бы утешить его, многое ему объяснить.

А ещё теперь ему известно, что где-то там, возле большого, вросшего в землю белого тела храма, вращается малая точка Матвейки — отдельного человека, с которым он сегодня был рядом.

Он снова глядит перед собой. Тёмно-серое выдвигается ему навстречу из-за горизонта и быстро растекается по бледному небу. В то же время поле занимается сказочным оранжевым светом. Парень оглядывается и видит в небе невероятную золотую трещину, из которой льётся этот свет.

Он едет чуть быстрее и замечает, как отдельные полевые растения пошевеливаются тут и там в первой предгрозовой тревоге. Река почернела, перестала отражать небо. Кажется, что она загустела и застыла, как кисель.

Ослепительно ярко загораются впереди два медальона лиц и два велосипедных руля. Так красиво... Можно подумать, что это степные кочевники едут верхом на буйволах. Но парень догадывается: «Это они».

Расстояние быстро сокращается. Так и есть, они. Он замечает, что волосы у обеих мокрые.

Они притормаживают, он вынужден остановиться тоже. На лицах женщин один и тот же след только что полученного и ещё не утихшего удовольствия.

— Эх, художник, — говорит мама, взбивая ладонями свои короткие, обвисшие от влаги волосы, —

на такую ты картину чуть-чуть не успел! Мы сейчас там с Алисой около леса купались... — Она перегибается через руль и добавляет шёпотом, как бы по секрету: — Голенькие!..

Алиса смотрит на парня бесстыдными смеющимися глазами. Лицо её светится, горит от заката.

— Ну, то, что я была голенькая, — продолжает женщина, беря под ладони свою маленькую, как у толстого мужчины, грудь и как бы взвешивая её под футболькой, — это мы опустим. Это зрешище не для слабонервных. Но это... — она целует пальцы, собранные щепоткой, и расщепляет их в небо. — Водяная лилия! Русалка! Сирена! Вы художник — вы просто обязаны нарисовать её обнажённый портрет! А знаете, как она по вас скучала? Ммм! Аж дрожала вся!..

Женщина смешно изображает дрожь, а парень начинает дрожать всерьёз.

— Ну — поехали уже, — переводит женщина смахивая на деловой лад и подвигается с велосипедом вперёд. — А то щас ливанёт — а я, вообще-то, больше мокнуть не планировала. — Вдруг она пристально, но снова видно, что несерёзно, заглядывает парню в глаза: — Я надеюсь, вы сообщили, кому надо, что останетесь ночевать в гостях?

Парень понимает, что сейчас должно будет произойти что-то неудобное. Он принуждённо улыбается и бормочет:

— Да вот... Оказалось, что надо мне ехать срочно. Извините, я...

Он резко надавливает всем весом своего тела на педаль, буксует задним колесом и, протиснувшись между Алисой и её мамой, начинает работать ногами страшно, до боли в икрах, чтобы не видеть, не слышать, забыть.

— Художник! — всё-таки слышит он за спиной. — Вы куда?! Что с вами, художник?! Художник, а вы случайно не голубой?! Или художники все голубы-ы-ые?!

Она неестественно хохочет и выкрикивает что-то ещё, но парень уже не может разобрать слов. Ему кажется, что эти слова раздаются не позади, а откуда-то снизу, как будто он обрубил канат воздушного шара и стремительно уносится ввысь от бессильных преследователей.

— Какой ужас... простите... до свиданья... — продолжает он бормотать и крутит, крутит педали...

Несколько минут спустя он наконец сбавляет ход и оглядывается — никого не видно.

Впереди уже виднеется родной лес. А вот то место, где он лежал сегодня после встречи с *ней*. Это место не узнать: оно золотое, а за ним совершенно чёрная река.

«Сфотографировать — никто не поверит», — думает парень.

Вдруг золотой свет гаснет, завораживающая, но изнурительная борьба света и тьмы прекращается, и в целом становится как будто яснее, светлее, хоть и темно, конечно, перед грозой. Парень чувствует себя простой частью природы, которая ожидает дождя. Он прольётся уже очень скоро.

Тёплый дорожный песок издаёт свой сгущённый запах. На несколько секунд в воздухе устанавливается такая духота, которую, как потом кажется, и нельзя было бы вынести секундой дольше, если бы не сверкнула молния и не ударил гром.

Поле вспыхивает белым светом, река на миг становится ртутной и пропадает в черноте, гром ударяет так сильно, что его слышно не столько ушами, сколько грудью, — и дождь принимается за работу сразу, без разгона.

Сухой дорожный песок моментально мешается с уже промокшим, подорожники трясутся под ударами воды и блестят, как кишащие лягушки. Кажется, что за счёт влаги, которую они жадно впитывают, они стремятся поскорее стать чем-то большим, чем растения: лягушками, потом зверями, потом, может быть, людьми.

Майка облепляет парню спину — и неприятно, и хорошо, и холодно, и тепло — не поймёшь. Вода даёт на тело ощущимой тяжестью, её в воздухе немногим меньше, чем самого воздуха. Уже почти невозможно ехать, колёса вязнут в грязи, да и не видно ничего, как на испорченной видеоплёнке, изображающей только переменчивые рисунки царапин.

Наконец-то лес. Почему он не увидел в первый раз это маленькое сооружение из бетонных блоков, от которого отходит в сторону реки ржавая толстая труба? Наверное, потому, что оно немного в глубине, а ещё потому, что он вообще мало что видел тогда.

Он оставляет велосипед под бетонным козырьком и заходит внутрь. Здесь повсюду следы человека: жестяные банки, бутылки, тряпки, испражнения, неприличные надписи на стенах. Парень расчищает ногой место на бетонном полу, садится туда и смотрит в проём на улицу. Он видит благородные сосновые стволы в ливневом дыму. Он примеряет к тому, что видит, тютчевское стихотворение про майскую грозу, и с радостью понимает, что здесь совсем не то, — и вовсе не из-за того, что сейчас июль, а из-за того, что каждая гроза для каждого места и каждого человека имеет своё стихотворение.

— *Я в бетонной будке...* — сразу ухватывается парень за уникальное, особенное, и окончание строки прилетает само: — *среди рая*.

Он совмещает:

— *Я в бетонной будке среди рая...*

Ему очень нравится. Он чувствует, что ещё должен позаниматься обстановкой будки.

— *Сидя на загаженном полу...*

«Если это рай, то почему пол загаженный?» — находит он противоречие, но чувствует, что это противоречие хорошее, что оно должно остаться.

— *Райский дождь сижу пережидаю...*

Он торжествует, впервые ощущив себя настоящим поэтом, но его торжество тут же обрывается, когда он находит запрятавшуюся в строчках ошибку: «сидя, сижу» — масло масляное. Ему надо идти дальше, а приходится застревать на месте.

Внезапно в проёме появляется она — *та* девушка. Она взглядывает на него — и не заходит внутрь, остаётся с велосипедом под козырьком. Парень сразу отодвигает стихотворение вглубь себя — отодвигает осторожно, как отодвигают свечу, боясь, что она погаснет, — и смотрит на девушку. Он видит только одну её ногу в тряпичном голубеньком кеде, руку, пле-чи и профиль. Он понимает, что не заговорит с нею; мало что на свете так же невозможно, как это. Но уже одно то, что она увидела его и приняла решение оставаться рядом, даёт ему нечто гораздо большее, чем разговор и даже чём поцелуй.

Девушка снимает с головы косынку (это не платок, а обычный обрывок какой-нибудь простыни с отделившимися от краёв нитками), выжимает её и куда-то откладывает. Потом она красиво, просто выжимает волосы и собирает их в хвост. Сделав эти два дела, она, кажется, ищет, чем бы заняться ещё, и быстро находит себе новое занятие. Она исчезает из виду, до парня доносится знакомый, хоть и чуть более глухой, чем тогда, на поле, стук бидона о велосипед, и вот он снова видит её: она задумчиво, но вместе с тем очень ловко забрасывает в рот ягоды. Она смотрит на дождь, но видно, что ягоды занимают её куда больше.

«Любит ягоды...» — любуется парень, улыбаясь.

Дождь стихает. За стволами проясняется поле. Девушка снова исчезает, на этот раз довольно надолго. В проёме виднеется краешек колеса её велосипеда: это говорит о том, что она ещё здесь, рядом.

Но вот исчезает и колесо: теперь ни велосипеда, ни девушки. Только какая-то белая тряпочка выглядывает внизу.

Анастасия Чернова

Горький шоколад

1

В последнюю неделю перед новогодними каникулами Вероника неожиданно для всех улетела в Северную Африку. Бросила работу, все срочные дела. Трёхлетнюю дочку Аню, недолго думая, отвезла к родителям, а заботу о комнатных розах поручила лучшей подруге Катерине, которая тоже ничего не понимала. Говорят, что директор клуба, где Вероника успешно пела и танцевала для веселых обывателей, когда узнал (а узнал он самый первый), тут же вычеркнул ее легкую фигуру и низкий, с ароматом под Арбенину, голос из своего сердца, а фамилию и все, что к ней там прилагается, из списков работников. Навсегда. Так подвести мог только самый лютый и самый изощренный враг. Тем более, только что совсем недавно, несколько дней назад, Вероника получила премию и обещала подписать контракт на пять месяцев вперед. На второй работе дела обстояли не лучше. Бухгалтерский отчет остался незавершенным, сотрудники ходили вокруг нее тихо, на цыпоч-

«Если это её косынка — значит, она ещё, на-верное, не уехала, — рассуждает парень. — Или за-была?...»

Он тихо встаёт и медленно подходит к проёму. Никого нет. На бетонном пороге лежит аккуратно расправлена косынка, на которой рассыпана черника, много черники.

Парень медленно, как бы боясь потерять созна-ние, опускается, садится на порог и осторожно кла-дёт в рот первую ягоду...

Съев чернику, он сидит на пороге ещё долго, вре-мя от времени бросая взгляд на белый обрывок тка-ни, порозовевший местами от сока ягод. Лишь ощу-тив скорое приближение темноты, он бережно скла-дывает косынку в несколько раз, кладёт её в карман и уезжает в направлении дома.

Трудная, непривычно пустая дорога назад.

Потом привычный город, привычный район, но всё, конечно, уже другое, совсем не родное.

Так уже было однажды, лет восемь назад. Мама повела его на спектакль, и он настолько проникся представлением, что, когда вышел из театра на ули-цу, долго не мог поверить, что окружающие его зда-ния и люди — настоящие. Настоящим казалось то, что происходило на сцене.

А сегодня солнце и дождь, небо и облака, поле и река, храм и бетонная будка, Алиса и её мама, отец Андрей и Матвейка, богомольные старушки и, ко-нечно, *она* — всё как будто договорилось выступить перед ним, обычным парнем, единственным согла-сенным хором, в котором каждая партия была исполне-на великого, хоть и не всегда понятного, значения.

ках, переговаривались торжественным шепотом, словно перед покойником.

Надо ли говорить, что дочка Аня заснула в слезах, бабушку и дедушку она видела редко и почему-то бо-ялась. Кроме того, мама второпях сунула ей не ту игрушку, старого зайца, которого она давно разлю-била, а мягкого смешарика не положила в рюкзачок. Девочка лопотала как могла про смешарика, что остался лежать возле подушки, рыдала в трамвае и тихо ныла в метро, но ничего не помогло. Вероника не вернулась и только в палатке купила ей леденец петушком на палочке, а себе несколько пачек креп-ких сигарет. Лил холодный затяжной дождь, особен-но мерзкий в декабре, они шлепали по лужам, и леденец, выскользнув из рук, сверкнул искрой лунно-го света на мостовой.

Поздно вечером, когда Катя вошла в просторную квартиру в центре Москвы, ее окатил терпкий запах

роз и сильное, почти до слабости в коленях, ощущение беды. Казалось, в квартире кто-то находился. Может быть, он прятался в комнате под кроватью либо забился в щель между стеной и плинтусом. Катя включила везде свет и, замирая, обошла кухню, коридор и комнату. Еще утром здесь сутилась Вероника, звучал детский смех, а сейчас изо всех углов веяло странной заброшенностью. На подоконнике пышной грядой цвели розы, их стебли, поднимаясь, оплетали специальные веревки, протянутые между ручками окна. Вся эта бархатная куща трепетала зловещим пятном, неведомым чудищем, что выпускает из зеленых чешуйчатых голов огненные языки. Катя протянула руку, одна из роз тут же больно ужалила палец. Да, кусты были живыми и враждебными. А ведь где-то еще должна быть кошка... Катя раньше видела ее в квартире Вероники. «Тынъ», — встрепенулся карман.

Сжимая подушечку пальца, Катя извлекла сотовый и прочитала: «Привет, у меня свободный вечер. Поехали в "Шоколадницу"». Школьная подруга Марина. Ах, как давно они не виделись, и сколько раз уже откладывалась встреча! Но сегодня, после тяжелого вчерашнего дня, хотелось побывать одной. В отличие от многих, Катя не умела быть веселой, когда хочется плакать. Поэтому она лаконично ответила: «Прости, не могу...» — и отправилась искать кошку.

Но сначала задернула шторы. Розы исчезли, будто ядовитые морские твари скрылись под волной, и на душе сразу полегчало, стало веселей. Возможно, цветы напоминали о первом бойфренде Мише, который каждый день дарил по огромному букету, а спустя два месяца исчез. Ее следующая и более продолжительная любовь длилась почти три года и аккуратно завершилась вчера, субботним вечером. Точнее, завершилась она, конечно, намного раньше, но именно вчера были наконец расставлены все точки над «i». Уже задолго до этого любые добрые чувства к Вадиму иссякли, как родник в засуху. Наверное, это самое страшное. Даже страшнее, чем безответная любовь, о существовании которой Катя знала только из книг. То, что описано в романах, во многом накрутка эмоций и преувеличение. Зачем скучать по человеку, который равнодушен к тебе? Пару раз вздохнуть да забыть... И совсем другая история, когда, как в застольной песне, все было хорошо, но постепенно в сердце не осталось ничего, кроме привычки. И жить скучно, и расставаться с неудавшейся мечтой страшно. Может быть, отношения оживили бы дети... Но Вадим не хотел. Это был его второй недостаток, и не главный, в глазах Кати. Главное в другом: Вадим никогда ничего не дарил и берег каждую копейку. Сначала для Кати это была лишь легкая досада, а затем стало раздражать. Приятные черты таяли, будто снег по весне, образуя мокрое место. И Катя постоянно незаметно плакала, это стало так же необходимо и просто, как дышать.

Она слышала, что, чем сильнее влюбленность, тем горестнее будет разочарование, главное — пре-

одолеть эту пропасть. Легко сказать! Тем более, когда очки потерялись... Те самые, волшебные стекла розового, земного счастья.

«Очень жаль! Будем тогда на связи» — пришла ответная смс от школьной подруги Мариной, и одновременно раздался резкий стук в дверь. От неожиданности Катя подпрыгнула. Даже представить невозможно, кто бы это мог быть! Подкравшись к двери, осторожно заглянула в глазок.

Какой-то сомнительный тип в джинсовой куртке и кепке, повернутой козырьком назад. Конечно, на улице тепло. Но не до такой же степени, верно? Вид у него был достаточно хмурый и потрепанный, словно он недавно проснулся или замыслил какое-нибудь преступление. Правда, вместо топора в руке он держал обыкновенный рюкзак, увешанный пестрыми значками. Слабое утешение. Ведь топор мог находиться и внутри рюкзака, а также под курткой, укрепленный в специальной петличке. Проходили мы это в школе. Стаяясь не дышать, Катя притаилась. Пристальный взгляд незнакомца она ощущала сквозь дверь: невидимые потоки, пронизывая кожаную обивку, впивались колючим холодком в тело, будто репейник, что распадается на множество крупинок и застrevает в волосах. Примерно с такого ощущения у Кати обычно начиналась очередная влюбленность, которая неизбежно затем разгоралась во что-то затяжное и бессмысленное, как с Вадимом. Чувство находило мгновенно и вскоре тяжло, если человек исчезал. Влюбленность похожа на огонь, она не может долго гореть, если вовремя не подкинуть сухое полено... Оказывается, это древнее состояние, воспетое поэтами, родственно страху. Пустая квартира, утонувшая в душном запахе роз. Упорный человек за дверью. Тишина.

Катя привстала на цыпочки, вновь приблизилась к глазку. На лестничной площадке никого не было.

Сразу захотелось спать. Раскрыв чемодан, она достала тюбики с гелями и пенками и пошла в душ. Только под струей горячей, обжигающей воды вспомнила, что кошка-то так нигде и не проявила себя. Возможно, она как-то выскочила в подъезд, а там шмыгнула во двор? А на улице сейчас холодно и дождь, б-р-р.

«Завтра обязательно найду, — уверила себя Катя, — куда она денется». Как обычно, перед сном она заварила полчашки зеленого чая с долькой лимона и, уже в кровати, устроившись с ноутбуком на животе, нырнула в соцсети. Эта привычка ужасно раздражала Вадима. Однако заснуть, не узнав последние новости от друзей, она не могла. Хотелось хоть как-то проветрить свою жизнь, приоткрыть окно во что-то иное. Сегодня — тем более. Всего за пять минут она узнала о том, что в родном поселке под Серпуховом прошел сильный снегопад. Тетя Надя выложила фотографии заснеженных деревьев и кустов, которые под шапкой снега походили на сказочные избушки гномов. Сама она, кокетливо улыбаясь, в коротком полуслубке и белых сапожках стояла перед

пушистой елкой. Вроде как снегурочка. Всем было столько сил и радости в шестьдесят пять лет...

Остальные виртуальные друзья оттачивали тем временем чувство иронии на материале московской погоды и декабрьских дождей, ну а Вадим, как и следовало ожидать, сменил статус и уже находился в «активном поиске». «Удачного пути, рыцарь!» — хотелось написать Кате, но она удержалась. Теперь кому-то другому суждено мучиться с ним пару лет. Пусть будет так. К горлу вновь подступил тяжелый ком.

И тут... раздался стук. Теперь она почти не волновалась. Прошлепала в прихожую, удостоверилась, что за дверью маячит все тот же тип, немного постояла и вернулась в комнату с чувством удовлетворения и выполненного долга.

Кто бы это мог быть? Тайный поклонник Вероники? Платонический — или любовник? Неизвестно. Странная у них была дружба... При встрече с подругами сама она, Катя, только и щебетала о любви, о том, как они поссорились, а вечером помирились, о том, какие все мужчины козлы (хотя, конечно, жизнь без них невозможна!), и о прекрасном, воздушном и легком, словно тюлевая оборочка на костюме балерины, девятнадцатом веке.

С Вероникой они познакомились года два назад, когда обеим исполнилось по двадцать пять, и за это время ни одной истории, трогательной, жуткой или обыденной, Вероника не поведала. Зато она была хорошим, просто замечательным, слушателем. Катюша, в свою очередь, имела чувство такта и никогда с лишними расспросами в душу не лезла.

А все же за дверью кое-кто бродит. Ох, девочки-девочки... Подтянув ноги к животу, Катя обняла плюшевого мишутку и тут же заснула...

По стене прозрачной комнаты ползла широкая струя жидкого горячего шоколада; встав на колени, она лизнула вкусную, наполненную ароматом кофейных зерен, массу. «М-м-м, как вкусно!» Тут раздался громкий топот. В комнату на белом коне въехал Вадим. Привязав коня к люстре, он, растягивая звуки, произнес: «Нууу иии жааарко». В просторном помещении действительно так было жарко, что шоколад растаял и течет, будто молоко из переполненного вымени коровы, стоит только потянуть за сосок. Катя замечает, что она обнажена, вся одежда, даже кружевной лифчик и трусы, оказались под льющейся лавиной шоколада. Как же выйти теперь на улицу? Нужна хотя бы шуба. Не говоря уже про валенки.

— На фига себе шуба, — отвечает конь голосом Вадима, — на улице тепло, ты что, не видишь, там дождь?

Действительно, за окном хлещет ледяной ливень. Грива коня также мокрая. Какая она пышная! Катя расчесывает гриву и заплетает мелкие, негритянские косички, потом запрыгивает в седло и, дернув за узду, хочет вылететь в открытый космос. «Давай же, давай! Но! Но!» И вдруг замечает, что ее руки грязные, измазаны черным шоколадом. Фу, какая гадость!

Усиливаясь, дождь монотонно барабанит по карнизу. Все громче и настойчивее. Тяжелые капли размельчаются с яблоко, разбиваясь, падают одна за другой.

Катя проснулась. На экране мобильного высвелоилось время: двенадцать часов. В дверь стучали.

— Да что же это такое! — Она вскочила и, накинув на плечи халатик, бросилась в коридор. — Нет, сколько можно! Я все понимаю, все! Но есть предел терпению. Есть, правда?!

Тут же, даже не посмотрев в глазок, распахнула дверь. И замерла, будто только что осознала: да, погорячилась. Не проснулась до конца, не совсем понимала, что делает. Но отступать теперь некуда...

Конечно, за порогом стоял он. Неведомый враг. «Надо было сначала милицию вызвать, мол, ко мне ломятся, — запоздало думала Катя, — а как тут объяснишь? Не ко мне, а к подруге. Подруга уехала, а я тут с кошкой... А кошка...»

— Э-э-э... — сказал незнакомец. — Добрый день.

Казалось, он был изумлен не меньше. Вместо Вероники перед ним стояла хорошенка босая девчушка, ее пышные светлые волосы были собраны в высокий хвост, из которого выбилось несколько прядей. Щеки разрумянились, одной рукой она придерживала дверь, а другой торопливо застегивала верхние пуговицы серого в розовую вишенку халата.

— Что?! День?! — Злость возвращалась. — Вы в курсе, что сейчас ночь? Добрая ночь. Вот как. Точнее, совсем даже не добрая! — Подбоченясь, она смерила его взглядом и, неожиданно прислонившись к косяку, спросила совсем другим, потеплевшим, голосом: — Что-то случилось?

Только сейчас Кате пришла мысль, что, возможно, случилось нечто страшное. Разве будет человек просто так, без всякого повода, три раза за один вечер стучать в одну и ту же дверь?

— Прости...те. Думал, что Вероника... А Веронику можно? Скажи, это Рома. Роман Петраков.

— Нет ее сейчас, уехала. Может, что передать?

— Как уехала?.. Давно?

— Сегодня утром. А ты не знал? — в глазах девушки появился интерес. — Что, правда, ничего не знал?

— Нет... — Роман вздохнул и крепко сжал губы, так, что его скулы стали почти квадратными, эта привычка сохранилась со временем армии перед выполнением трудного задания. — Если бы знал... приехал раньше.

— Даже так!.. Ну и ну.

— У меня важный разговор. Жаль, что так сложилось. — Он все еще стоял на пороге, не решаясь повернуться и навсегда уйти обратно, в коричневую темноту пустых дворов, где только дождь, и ветер, и ничего больше нет. — Когда она вернется-то?

— Да кто бы знал! После праздников, может. Погоди, сейчас спрошу. Петраков, говоришь? — Махнув рукой, девушка скрылась за дверью.

Перед отъездом Вероника сменила сумку и на всякий случай оставила ей бумажку с новым номе-

ром. Правда, просила по пустякам не беспокоить, только если что-то действительно экстренное случится. Мол, хочется ей забыть обо всем на свете, полной грудью вдохнуть неведомые дали. Никого не слышать и ни о чем не знать. Удивительно, но долго слушать гудки не пришлось. На той стороне ответил бодрый знакомый голос:

— Привет, Катю! Что стряслось?

— Да-да, ты прикинь... — Катя забралась в кресло и последовательно изложила все, что ей довелось пережить за этот вечер, начиная с колючих роз, «активного поиска» Вадима, горячего душа, жуткого сна и заканчивая появлением одного странного типа по имени Рома Петраков, который несколько часов ломился в дверь.

Теперь она ожидала услышать какую-нибудь трогательную историю о несчастной любви и похождениях этого Петракова.

Ответ поразил своей лаконичной неожиданностью. Вероника попросила пригласить его в дом и напоить чаем. От удивления Катя растеряла все слова. Как это, почему? С какой стати?

Вероника, видимо, почувствовала, что перегнула палку, у любой скрытности есть свой предел. А если ты о чем-то просишь, изволь тогда и пояснить, приоткрыть свою тайну...

— Свой человек... Ну, считай, друг детства.

— Дру-у-уг? — недоверчиво протянула Катя. — Это хорошо...

— Ну да. Детства... Откуда он взялся? Ума не приложу. И надо же, именно сейчас!

Перспектива пустить ночью в дом чужого человека Катю не радовала, однако любопытство взяло верх. Она открыла дверь, и, высунувшись, проговорила:

— Вы с дороги? Хотите, кофе сделаю... с бутербродиком. Вероника не против.

— Спасибо... — Рома зашел и остановился в прихожей. — Да мне неудобно, ночь ведь... Думал, Вероника поздно ложится. К двенадцати иногда только приходит... Раньше так было.

— Ну-у-у, развел! Поздно, не поздно... Чего теперь! Все равно проснулась.

— Я, может, потом зайду. Когда Вероника приедет? Повидаться надо...

— Не знаю, когда, — хмуро ответила Катя, — ты лучше бы совсем тогда не заходил. Чем зайти и ныть до бесконечности. После да потом...

— Ну-у, не сердись, — пробормотал Роман, и она вздрогнула, точно обожглась.

Именно после таких слов Вадим, обняв ее за плечи, крепко целовал в губы, и они вновь мирились, день ото дня, из года в год... «Ну, не сердись» — очередной узелок на бесконечной веревке будней, которая все туже затягивается вокруг твоей шеи. Душно. Вот уже совсем нечем дышать...

Она испуганно отступила назад.

— Ты права, плохо, что я здесь, — продолжил Рома, — но я слишком долго ехал... Несколько лет.

Катя эта ситуация даже начинала нравиться:

— Это откуда, если не секрет?

— Из тюрьмы.

Наклонившись, Рома невозмутимо расшнуровывал грязные ботинки. Потом он снял кепку, обнажив бритую голову. На правом виске, ближе к уху, Катя рассмотрела шрам.

— Неужели...

— Шутка. Но... в каждой шутке есть... доля шутки. А ты поверила?

Спустя пять минут они сидели на кухне и пили горький кофе с лимоном. В воздухе тлело напряженное молчание. Спросить о чем-то еще после недвусмысленных шуток про тюрьму Катя не решалась. А гость сосредоточенно думал о чем-то своем....

— Может, Вероника что передала? — прервал он молчание первым.

— А? Да нет, вроде ничего...

— Как она отреагировала, что я пришел?

— Удивилась. Потом сказала, друг детства.

— Даже так? Здорово... Что же, хотя бы так. Уйду теперь не совсем пустой...

— Ты, наверное, ее... бывший? — осмелив, спросила Катя и уже замерла от предошущения новой, трепетной истории, которую, возможно, сейчас услышит.

— Я?! Нет, ну что ты... — засмеялся Рома, — конечно нет!

— Тогда я совсем ничего не понимаю, — упавшим голосом заключила Катя.

— У хороших девушек не бывает бывших. А перед Вероникой я очень и очень виноват. Хотелось мне поговорить. Все злое — оставить уходящему году, а у нас — новый путь. Ну, значит, не судьба...

— Так она совсем и не сердится... На тебя.

— Знаю. А на душе все равно гадко. Не хватает одного винтика.

— А что ты сказал про хороших девушек? Повтори...

— Когда сказал?

— Ну, только что.

— Вероника хорошая девушка.

— Нет, не это. Не только это... Ты сказал кое-что еще... — голос Кати задрожал, — про бывших.

Рома поставил чашку на стол и серьезно, с удивлением, посмотрел. Он не был похож ни на одного из друзей и знакомых Кати. Впрочем, у нее их насчитывалось не так уж и много. В его взгляде не читалось ни капельки восхищения и преклонения перед ее изящным, будто выпеленным из тончайшего фарфора, телом, загадочной улыбкой и женственностью. Сейчас ее глаза, хранящие цвет жаркого июльского неба, вздрогнув, стали морем, что вышло из своих берегов.

— Хорош темнить. Что случилось-то, скажи. Обидел кто? — спросил спокойно, без тени усмешки или любопытства.

— Нет-нет, ничего... — Катя замотала головой, — все в норме...

Как объяснить, да и нужно ли, что она-то всегда хотела как лучше, шла на уступки. Мечтала о вечной любви до гроба, и ничего не вышло, все рассеялось пылью разрушенных городов. Скорее всего, он прав, у хороших девушки так не бывает, у тех иначе...

Нет так нет... Рома не настаивал. Пожалуй, пора идти. Он посмотрел на часы и достал планшет.

— Скажи, ловит тут Интернет? Нужно проверить почту...

— Ловит, конечно. — Катя отправилась искать пароли, а когда вернулась, гость стоял перед окном и задумчиво смотрел вдаль.

— М-да... ничего не изменилось, — сказал он медленно. — Даже окна те же самые. Кажется, я помню каждую трещину. Вот здесь в тот вечер стоял горшок с цветком. Сохранился отпечаток от его блюдца.

На улице глох ветер, выкручивая ветви кустов и деревьев, и бледная луна, показавшись над крышами домов, тут же исчезла, словно испугалась. Зимний дождь совсем не такой, как летом-весной или, скажем, поздней осенью. Он лишен всякого запаха и шума листвы; бредет себе вдоль бетонных коробок, не оставляя следов. Черные лужи! Зря вы раскинули свои рваные сети на мостовой. Цепляя прохожих за сапоги, оставляете отпечатки кривых зубов на брюках и подоле длинных одежд. Только никого это теперь не смущает. Мы идем без зонтов, утопая в брызгах серой воды, и мечтаем об одном. О первом снеге.

— В какой вечер? — только и спросила Катя. Теперь она уже не надеялась ни на какую историю. Ну и ладно. Больно надо. Встанет пораньше — сбегает утром, до работы, в киоск, купит еженедельные журналы «Жизненные происшествия» и «Тайны звезд» и будет их с упоением читать за чашечкой кофе.

— Когда последний раз тут был... Вечером. И шкаф в прихожей стоит. Ничего не изменилось, — повторил Рома, — Что-то не получается войти. Пароль спрашивает... Глянь?

И он протянул планшет. Катя машинально взяла и, склонившись, замерла. Синеватое окно новой вкладки с пустой строкой для пароля скрывало лишь часть экрана, никак не затрагивая заставной картинки — фотографии девушки. Ничего из ряда вон выходящего. Даже то, что девушка была довольно красива, ее длинные прямые волосы перекинуты через плечо, черная шапка с помпоном оттеняет большие карие глаза и улыбку, аккуратные ямочки на щеках. Она выглядит такой счастливой, что облик не портят ни серые тени под глазами, ни бледность лица. Сам взгляд сияет, живой и беспечный. Кажется, вот-вот она сорвет шапку, подкинет в небо, побежит вперед и звонко захочет. Только на мгновение она остановилась, оглянувшись, и этот миг успел поймать фотограф.

Да, конечно, это тоже вполне укладывается в рамки привычного. Все, кроме одного. Девушка на фотографии, без сомнения, была знакома Кате.

— Это же.... Лиза, — она оторвалась от планшета, — мы в одной школе учились, помню.

— Круто... — только и сказал Рома. — Как тесен мир. Ты учились с моей Лизой?

— В разных классах... Она младше на несколько лет. Но жили рядом, считай, на одной улице. Да... А Лиза совсем не изменилась. Потом-то мы уже не виделись почти...

— Дела-а-а... — Он, задумавшись, подлил себе в чашку еще кипятка и бросил новый пакетик чая.

Казалось, теперь торопиться некуда. Катя даже расхотелось спать. Пожалуй, завтра она позовет начальнику и, сославшись на болезнь, останется дома. Даже журналы не будет покупать. Здесь и сейчас, этой ночью, разворачиваются события — покруче любого «жизненного происшествия».

— Какое совпадение! — прощебетала она, — потрясающая случайность, да?

— Случайностей не бывает... Катя. — Он потрогал шрам. — Вы учились в одной школе, и сегодня я тебя встретил. Именно в ту неделю, когда многое решается. Ни раньше, ни позже. В общем, ты можешь кое-что подсказать? Нужна твоя помощь.

— Конечно, могу! Правда, мы не очень много общались...

— Лиза, какая она?

— То есть... — Катя задумалась. — Ну, такая... такая... умная. Вот.

— Нет, я не про это. Что умная — сам знаю. Кажется Лиза была в детстве, что ей нравится больше всего? Мы общаемся уже почти год, но я не всегда ее понимаю. Месяц назад я сделал предложение, и она до сих пор думает.

— До сих пор?!

— При этом уверяет, что я единственный, любит и так далее...

— С ума сойти, — выдохнула Катя. — Бывает же так.

— Есть еще ряд странностей. Но, может быть, я просто что-то не так делаю...

— Скорее всего. Нет девушки, которая бы не мечтала выйти замуж. Впрочем, эта Лиза действительно всегда была немного странной.

2

При словах «всегда была немного странной» Рома пожалел, что завел подобный разговор. Кто такая эта Катя, чтобы рассуждать о его любимой девушке? Мало ли кто там что считает!

С Лизой он познакомился, когда подрабатывал охранником в общежитии ВГИКа, было такое время. Он стоял на крыльце с сигаретой. В небе таяли облака, похожие на кофейную пенку, а вокруг разливался весенний свет, такой яркий, что соседний дом напоминал золотую гору. Прищурившись, он погружался в дивное безвременье... В котором то ли спешла рожь шумит, то ли мед проливается из огромного космического бочонка. Ощущение покоя, неотделимое от легкой, едва уловимой тоски. Неожиданно

тоска свернулась, и, когда он открыл глаза, перед ним стояла Лиза.

Это было похоже на знакомство в метро: симпатичных девушек много, но все спешат мимо по своим делам, не обращая ни на кого внимания. Вероятность встречи бесконечно мала и, чтобы она состоялась, необходим глас Неба, не иначе.

Сейчас бы он не смог точно вспомнить, как она была одета или кто первый заговорил. Скорее всего, Лиза просто шла мимо — как позже он узнал — приходила в гости к подруге. И, возможно, на ней было приталенное платье в мелкий синий цветок, сапоги на высоких каблуках и белый шарф до самого носа. Именно так она обычно одевалась, то некрасиво, как на базаре в морозный день, закутываясь в шарф, то опуская его на плечи. Волосы она забирала в высокий пучок и, обматывая тонкой лентой, прикалывала искусственный цветок. Примерно к такому образу стремились некоторые творческие девушки в начале 10-х годов XXI века.

Остановившись на крыльце, она порылась в сумке и достала «мыльницу», поскольку усмотрела в небе какое-то облако редкой формы. «Щелк» — кадр готов. Видимо, фотография получилась настолько удачной, что девушка засмеялась. Замереть статуей, не разговориться о хорошей погоде и красивых облачах было бы просто неприлично. Тем более что от золота, потоком стекающего с небес, внутри все растопилось, сердце стало мягким, как воск, из которого можно было вылепить любой сюжет.

Вскоре он устроился работать по специальности в экономический отдел одной престижной компании и на свою первую зарплату купил Лизе изящный велосипед с плетеной корзинкой впереди. Утром она ездила в институт, а после обеда занималась в библиотеке или ходила по магазинам, не всегда что-то покупая. Как Рома понял позже, ей просто нравилось примерять разную одежду. Вечера они проводили в ботаническом саду, выезжая на велосипедах к далекому заросшему пруду.

— Как все бессмысленно, — сказала Лиза, — вот эта весна, например. Цветут кувшинки, поют соловьи. Но ведь десять тысяч раз так уже было... а сколько будет!

— Лиза, — удивился Рома, — много раз было, а для нас — впервые. Правда?

Потянувшись, она бросила в пруд камешек и ничего не ответила.

В другой раз они оказались в беседке, которую оживал густой плющ. Лил сильный дождь, небо разламывалось на части, точно швыряло вниз каменные глыбы. Некоторые капли проникали в беседку, это была приятная прохлада. Влажная скамейка, густой запах жасмина. Лиза отбросила в сторону шарф и одним движением, легким взмахом руки, распустила волосы. Дождь настиг их в пути, поэтому ее волосы и платье были мокрыми, опьяняющие пахли сосновым лесом, ранней весной, талым снегом. Он, прижав ее к себе, все глубже погружался в этот аро-

мат, и вдруг Лиза резко отстранилась. Стала мрачнее туч, что бушевали в небе, разрывая друг друга в клочья. Такое выражение он заметил впервые. Закусив нижнюю губу, она смотрела в сторону, туда, где ничего, собственно, и не было, кроме темно-зеленой листвы, усеянной мелкими каплями. При этом в глазах ее, казалось, застыл ужас. А спустя всего несколько мгновений крепко обняла, прижимаясь всем телом. Единственное, что понял Рома (в этих вопросах он был очень чуткий) — то, что к чему-то серьезному она сейчас, увы, не готова.

Не была она готова к этому и через несколько месяцев и даже спустя полгода. Напротив, постепенно стала отдаляться. С каждым разом их встречи были все нежнее и одновременно отчужденнее. Это невозможно объяснить рационально. Грустная нежность наполняла взгляд и улыбку, она о чем-то думала, причем мысли эти были, без сомнения, светлыми и спокойными. С удивлением Рома узнал, что между притягательной открытостью любви, когда ты выражашь свои чувства, называешь все своими именами, и неосознанным влечением, на которое перестают обращать внимание, существует множество оттенков. Теперь она бы уже не допустила той скромной радости, что царила во время грозы в беседке, затерянной среди парка. Они даже перестали ходить за руку; после прощания разбредались каждый в свою сторону, не оглядываясь; изредка писали друг другу письма, а на звонки Лиза чаще всего не отвечала. При этом она искренне радовалась редким встречам (или так только казалось?), об этом свидетельствовали почти неуловимые жесты и теплота, доверительность интонации, которую не сыграешь. Голос исчезал, оставляя свою самую сокровенную основу — шепот. Так все большое и видимое пропадает со временем, но некоторая частица, осевшая в душе, может быть вечной. Например, любовь к другому человеку.

Возможно, в такой форме проявился психологический кризис, связанный с тем, что Лиза окончила институт? Путь во взрослую жизнь открыт. Да, ей уже не семнадцать лет, но ведь и двадцать два года — далеко не старость... Тем более, комиссия высоко оценила ее дипломный сценарий, защита прошла успешно, и один режиссер уже в конце лета предложил выгодный долгосрочный проект.

Рома открылся своим родителям, и они подсказали самый достойный выход из ситуации — сделать своевременное предложение. До сих пор в некоторых семьях существует устаревшее представление о необходимости брака. (Как будто в галочке все дело!) Скорее всего, здесь именно такой случай. Родители спросили о материальном состоянии невесты и остались очень недовольны: отец Лизы погиб в Афганистане, мать работала учительницей в начальных классах, и у них ничего не было, кроме крошечной квартиры на окраине Москвы. Впрочем, решению сына никто не препятствовал. По-настоящему богат тот, кто не боится нищеты. «Хотя, в целом, бедность — близка к пороку, — заметил отец. — Есть

люди, которые просто не в силах заработать, вялые, аморфные, и если им перепадет случайно значительная сумма — растратят бездарно и без всякого смысла. А другие тем временем начнут с нуля и достигнут высот, пока серость рассуждает о несправедливости мицроздания, построят свою жизнь...»

Решать важные дела родственники любили в одном из ресторанов на берегу Волги, под негромкий и благозвучный перелив фортепианной мелодии. Хороший повод собраться всем вместе! Заранее планировали встречу, подгадывая время. Это был тот самый период, когда отец возвращался из очередной зарубежной командировки. Бабушка, которая постоянно пропадала на соревнованиях, занимаясь стрельбой из лука, наконец приезжала домой с одной или двумя бронзовыми медалями (первых мест она никогда не занимала) и хвасталась перед прабабушкой и внучками своими достижениями. Младший брат-студент волей судьбы также оказывался в Самаре. Все нити сходились в один узелок, и семья наконец встречалась.

Рома помнил, как именно здесь они отпраздновали его поступление в институт, здесь же, почти под ту же самую дерзкую и славящую музыку неизвестного композитора, состоялись проводы в армию. Затем он тайно устроился работать охранником, хотел быть, по примеру отца, независимым в решениях, однако долго не протянул, и закончилось, как обычно: используя семейные связи, нашел хорошую работу. Сейчас его мама, усталая женщина с короткой модной стрижкой, похожей на рыцарский шлем, качала на руках младенца. В сорок пять она родила третьего и с тех пор не расставалась с ним, не доверяя даже опытной няне.

Прабабушка Ромы, которой было уже девяносто, тоже участвовала в разговоре. Она-то и спросила, будто невзначай:

— А как поживает певица, Кристина, кажется? Ой, Вероника... Да-да, подзабыла маленько.

Ответа она, видимо, не ждала, поскольку тут же заснула. Рома ответил, склоняясь к ее уху: «Не знаю... Видимо, все так же...» Как именно, он точно и не мог предположить.

Прабабушка открыла глаза и, оглянувшись, вздохнула:

— В моей молодости в Волге купались. Мы прыгали, разбегаясь с покатого берега, сразу в воду. Теперь я ни за что не решусь нырнуть.

— Ну и зря, — ответила бабушка, та, которая с луком, — обязательно нырни, если хочется. На прошлых выходных мне торжественно вручили бронзовую медаль. А мне уж семьдесят, матушка. Вот так.

3

Тем временем Катя плавала в своих воспоминаниях. Именно «плавала», в самом печальном значении этого слова, поскольку ничего конкретного вспо-

мнить не получалось, а какие-то обрывочные впечатления от случайных встреч нарядить в слова оказалось не так уж и просто. Не залитое в форму слова впечатление растекалось по древу, оставалось загадочным и недоступным.

— Ну, отлично! — завершил ее недолгий рассказ Рома. — Итак, ты говоришь, они живут с мамой в маленькой квартире. Спасибо, я догадывался.

— А чтобы понравиться девушке, — тянула время Катя, — нужно дарить цветы.

— Какие?

— Разные. Чем больше, тем лучше. Может быть... Ты прости за прямоту. Но, может быть, она любит кого другого?

— Есть подозрение... Это в точку, да, — тут же отреагировал Рома.

— Осталось выяснить, кого именно, и его ликвидировать.

— Что-о-о? — Рома чуть не подавился кусочком печенья. — Ничего себе совет! А в тюрьму потом загреметь, это ничего, да?

— Так тебе же не впервые, — хитро улыбнулась Катя, — сам говорил.

— Ну, товарищ начальник, вас не проведешь. Все под учетом... Много воробьев словили в клетку!

— На память не жалуюсь, — скромно опустив глаза, она вздохнула, — но лучше бы иногда ее отшибало. Проснулся — и всё с чистого листа.

— Это почему же?

— Так... — уклончиво ответила Катя, и они дружно рассмеялись.

Удивительно, с этой девушкой он знаком всего полчаса, а чувствует себя свободно, как со старым другом. Она принадлежит к редкому типу людей, на которых посмотришь — и сразу понимаешь: доверять можно. В них отсутствует второе дно, тот самый глухой омут, в котором плодятся химеры. Улыбка — это всегда улыбка, а не шаткий мостик над страшной пропастью. Да и васильковые глаза не хранят и капли той самой бездны, по которой поэты сходят с ума, кончая жизнь самоубийством.

— Ну а ты-то здесь какими судьбами? — спросил напоследок Рома. — А то все обо мне да обо мне. Словно загрузил своими проблемами...

— Вероника просила пожить. Поливать цветы, кормить кошку. Я только рада. Домой ехать не хочется, но, видимо, придется. Со своим парнем рассталась. Как жить дальше, ума не приложу, — задумчиво произнесла Катя, раскрывая все свои карты.

— Наступит Новый год, и вы помиритесь.

— Нет и нет! Не та ситуация. Не говори, о чем не знаешь...

— Значит, будешь тусить пока здесь. Гладить кошку по шерстке и целовать носик. Тоже неплохо, и кошке повезло.

— Повезло, ага... Если бы еще знать, где она, эта кошка.

— То есть?

— Запропастилась куда-то, найти не могу...

— А вот это уже плохо. Непорядок, — Рома встал, — как же мы тут сидим с тобой, чай пьем, а кошка Вероники где-то пропадает.

— Да звала ее, звала! — побежала Катя следом. — Кис-кис-кис...

И они стали искать кошку. «Вот это мужчина, — размышляла тем временем Катя, — какую-то Мурку ищет, а про собственную дочку забыл. Еще бы шпинта завел и нянчился с ним». Теперь наконец-то разрозненные фрагменты мозаики сложились в одно целое. Он, видимо, виноват перед Вероникой, но при этом отрицает всякую связь с ней. Это может означать только одно: между ними действительно было что-то серьезное, но ради новой девушки он пытается все забыть. Однако достичь состояния блаженной свободы оказалось не так-то просто, и, после ряда неудач с Лизой, он принимает решение встретиться с Вероникой, заплатить алименты и тем самым очистить свою совесть. Вероника пока не знает, что у Ромы новая девушка, именно поэтому она представляет его как «друга детства» и предлагает угостить чашечкой чая. Смутно бедняжка надеется, что он вернулся к ней навсегда и дочка наконец обретет отца. Увы! Какая насмешка судьбы! Этим надеждам не дано исполниться... Черный пазл под названием «тюрьма» пока не имеет постоянного места, однако к созданной картине его можно прикрепить с любого бока. Существенное вкрапление в образ. Неприятный, в целом, человек. Двуличный, скользкий, порочный.

Теперь из себя что-то еще строит... Катя молча наблюдала, как Рома залез под кровать, собрал на себя всю пыль. Затем проверил верх шкафа, выглянув на балкон, отодвинул этажерку, всю заставленную безделушками. Кошки нигде не было. Одна из статуэток, фарфоровая балерина, качнувшись, вытянула носок и скользнула вниз. Рассыпалась с тихим звоном в безликую горстку стекла.

4

— Гром и молния, — кричал начальник отдела, — вы все сговорились! Наверное, чтобы шеф фирмы меня уволил, типун на язык! Одна не может, у другой рожает подруга, третья сломала ногу, четвертая... Нет и нет! Слышать ничего не хочу. Я бы сам сегодня был на телефоне и заменил всех вас, недотеп. А потом бы уволил, да! Если бы не одно *но*.

Повисла пауза.

— Я только что сломал ногу, лежу на асфальте посреди дороги, и у меня сейчас рожает жена.

— Как же так, Павел Викторович?

— Бежал в роддом и упал.

— Ой, что же делать?

— Ничего, все в порядке. Такси уже вызвал. Подождаю... Снег мягкий, очень уютно.

— Буду сегодня, обязательно, — ответила Катя, — выздоравливайте.

Она отключила трубку и, немного посмеявшись над нелепостью ситуации (представился начальник, возлежащий на асфальте, все такой же солидный и важный, как за столом в кабинете), помчалась собираться на работу. Даже при самом быстром темпе это должно было занять не менее двух часов. Ведь нельзя идти в офис с грязными волосами, правда? Плюс укладка. Покраска ногтей в цвет апрельской зари. И куча других мелочей, известных только настоящим женщинам.

Конечно, можно было бы собраться и быстрее, например, за полтора часа, но темп существенно замедляя недавняя душевная травма. Как ни крути, расставание — это всегда боль. Даже в том случае, когда отношения давно стали никакими и только угнетали своей нелепостью, как искусственная кульяпка на теле здорового человека. Про неудавшуюся мечту кричал каждый предмет, который она доставала из сумки. Эту расческу она купила в универсаме, где искала подарок для Вадима на день всех влюбленных. Выбросить надо расческу, да. Именно ею она поправляла волосы, собираясь на свидание. А эти бусы... О-о, лучше бы их не видеть! С платьями дела обстоят еще сложнее. Почти всю одежду она оставила в квартире Вадима, ее еще предстоит забрать сегодня-завтра. А вместе с ними и всю отрицательную энергию воспоминаний. Пока же добивает своим видом вот эта мини-юбка и майка в арбузную полосочку. Нет, конечно же на работу она так не собирается идти, смотреть на эту майку не может. Когда-то давно они с Вадимом сидели на террасе дачного домика и ели арбуз. Теперь ничего этого не будет. Никогда. Но и от строгих брюк с белой рубашкой тошнит...

На эти два часа можно спокойно оставить героиню. Пока она собирается, ничего нового не произойдет. Как вы уже, наверное, поняли, шторку отодвигать Катя не стала, чтобы не видеть лишний раз цветы, которые не дарил Вадим. Что и говорит! Расставаться тяжело, это все равно, что содрать бинт, присохший к глубокой ране, которая образовалась за долгие годы совместной жизни. Без щуток. Это так. Особенно для впечатлительных, чутких и нежных женщин.

5

Тем временем Лиза слушала рассказ Ромки об удивительном знакомстве с некой ее одноклассницей, точнее, одношкольницей. Но, сколько бы он ни пытался описать внешность Кати, вспомнить не получалось. Не помогла даже та информация, что их дома находились, судя по всему, на одной улице.

— Понимаешь, наша улица очень длинная, — сказала наконец Лиза, потягиваясь (она еще лежала в постели, прижимая трубку к уху), — но ты прямо заинтриговал. А знаешь что? Пригласи ее куданибудь. Давайте все вместе погуляем, зайдем на выставку. Хоть завтра.

— Все вместе? — озадачился Рома. — Вообще-то мы хотели вдвоем побродить...

— Ну, вдвоем мы всегда успеем. Я позову еще Максика.

Так и тянуло ответить «это с Максиком ты всегда успеешь», но сердиться не хотелось, бездарный очкарик с курса Лизы вызывал лишь жалость. Высокий и тщедушный, одежда на нем висела слишком свободно, как на шесте, обращаясь в бесформенную нарядку привидения. Да еще огромные очки на поллица и жидккая козлиная бородка серого оттенка. Он постоянно слушал в наушниках тяжелый рок, тайно писал садистские стихи и ждал конца света.

С этим вырожденцем Лиза время от времени общалась, и это было по-настоящему отвратительно. Рома мог бы движением одного пальца его прикончить. Только повода пока не находилось. Максик вел себя очень скромно, в компаниях был услужлив и молчалив. Иногда скорбным, будто придавленным, голосом жаловался на несовершенство окружающего мира, мизерную стипендию, которой хватало лишь на корм коту, тесноту в вагонах метро и слишком теплую для зимы погоду. Об такого нытика руки не очень-то хочется пачкать. Ему шел уже тридцатый год, и он все еще жил со своей мамой, на полном ее содержании. Как утверждала Лиза, на курсе с ним никто не дружил. Только посмеивались над его костюмом и обсуждали, когда же он купит себе новые ботинки. Максик казался одиноким, никому не нужным, поэтому она и села с ним за один стол. Рома пытался объяснить, что жалость — плохой фундамент не только для любви, но и для дружбы. Но она не поняла. Либо не захотела понять.

Как бы то ни было, приходилось мириться с существованием Максика, что было не только грустно, но и смешно, и абсурдно. Рома был уверен, что рано или поздно этот хмырь обязательно совершил какую-либо гадость. Например, напишет маркером очередное мерзкое стихотворение на стене Лизиного подъезда или заявится на празднике с сумкой, полной дохлых крыс. От такого можно ждать все что угодно!

— Пожалуйста, давай не будем сейчас, — попросила Лиза, — ты хочешь, чтобы я жила в четырех стенах и ни с кем не общалась?

— Разве нам скучно вдвоем?

— Да нет.

Отключив телефон, Лиза некоторое время лежала в кровати с книгой Маркеса. Сегодня никуда можно не торопиться, три выходных подряд, ближайшая работа лишь после праздников. Утренний свет разливается по комнате, окутывая каждый предмет серебристым мерцанием.

Вчера ночью она каталась на коньках в парке Горького, несмотря на теплую погоду, искусственный лед все еще держался. Из динамиков рвалась скучная музыка, певица стенала о потерянном рае, ее голос осыпался искрами чужих планет, что исчезают под утро. В тусклом небе остаются лишь грязные разводы, и солнце, разорвав пелену туч, медлен-

но рождается в мир живых. Больно и тяжело. На месте разрыва всегда выступает кровь. Край неба окрашивается в розовый, и вот уже первый прохожий спешит на работу...

Лиза легко кружилась по льду, чувствовала, как тело становится все более невесомым и послушным, выходит в иное измерение; как глубоко внутри, под сердцем, скапливается жар и, прорываясь огнем, будто втягивает в стремительный водоворот, заставляя двигаться все быстрее и быстрее. Уф, жарко. Она затормозила, сдернула шапку и прижала ее к лицу. Прохлада дождевых капель... Оказывается, давно крапает тихий дождь и на месте катка уже образовалось светло-голубое озеро. Никого больше нет, только золотые слитки фонарей неподвижно застыли в темном воздухе. Лиза подпрыгнула и, вытянув носок, сделала еще несколько поворотов. Да, лед стал мягким, коньки проваливались и не скользили.

Пройдет лет пять. Может быть, десять или сорок, что не так уж и важно, поскольку все наше прошлое, каким бы протяженным оно ни было — укладывается в одну-единственную минуту, не больше. И жизнь, вновь обернувшись зерном, упадет в землю. Ветер исполнит свою победную песнь, и расцветут незабудки в лесу.

Лиза встала, вскипятила воду и, дожинаясь, пока заварится чай с корицей, протерла тряпкой коньки. Их лезвия немного затупились, но необходимости нести мастеру для заточки нет. Возможно, коньки возьмет кто-то из подруг, а может быть, они так и останутся лежать в кладовке, а со временем плавно и скорбно переместятся в мусорный контейнер. В детстве Лиза немного занималась фигурным катанием, с тех пор прошло много лет, гибкость и навыки давно утратились. Сейчас она на льду как слон. Что не исключает, впрочем, удовольствия. Свежий вкус ветра на губах точно поцелуй неба. Скользжение по обочине мироздания. Стеклянная корочка льда, испещренная голубыми нитями, что тянутся за коньками, и совершенно ровная поверхность там, впереди, в белом сиянии солнца. Если бы можно было собрать все следы, отпечатки пальцев на стекле в автобусе, когда она, стирая перчаткой мутный слой влаги, выводила надпись «Рома + Лиза», все шаги и встречи — в один клубок. Не истраченный, не запутанный? Невозможно. Но и сейчас судьба еще не растрячена до конца, множество томительных и прекрасных минут, расплывшись, манят в таинственных снах своей близостью. Лизе были незнакомы поэтические метания Байрона и преждевременная старость души. Ей казалось, что радость проникает в каждую, даже самую отдаленную, область жизни. Что ни возьми. Если подумать, декабрьский дождь по-своему прекрасен. Он стучит в стекло, будто играет на музыкальном инструменте. У него холодные жесткие пальцы, еще немного, и они станут белой пряжей, снежными бабочками, парящими в силках мороза. Сейчас на кухне остывает чай с палочкой корицы. Лиза переодевается. Натягивая майку, с удивлением замечает, как по-

степенно, с каждым днем все более, грудь наливается силой. Еще недавно она была незаметной и легкой, как у подростка. Так, созревая, тело приближается к своему совершенству. Даже кожа стала белее, чем раньше, голос звонче.

Хочется, не теряя ни минуты, взять все, что есть у тебя и, приподняв на ладонях, ступить в белые просторы. Принести в дар. Золотые ворота сомкнутся за спиной. Ну а связки нитей, брошенные за спиной, следы от встреч и коньков, случайных слов и незавершенных дел сначала будут тускло мерцать на пути. Вскоре выпадет снег, стирая неровности. А потом растает. И все забудется. Исчезнет в дымке нового дня.

6

Ровно в десять часов тридцать одну минуту Катя была в полной готовности. Теперь ее было не узнать! Стильные джинсы, заправленные в сапоги. Легкий полушубок на круглых пуговицах с оранжевым воротником. Густые волосы отливали сиянием спелой пшеницы, что колышется на ветру в знойном воздухе августа. Вся эта груда кудрей в романтическом беспорядке спускалась до талии. На самом деле, конечно, беспорядок был тщательно спланирован, Катенька умело определила точное место каждой кудряшки, просчитала, как расположить, чтобы подчеркнуть профиль, чуть округлить высокий лоб, закрыть ухо, но не полностью, а так, чтобы просвечивала золотая сережка с крохотным изумрудом посередине. Оттенок розовой помады идеально подходил к браслету на запястье, а тонкие каблуки на сапогах — цвету и толщине ремешка, обхватившего бедра. Образ дополняла маленькая белая сумочка. Сколько всего в нее удалось вместить! Не только телефон и зеркальце с расческой, но еще и «Альпенгольд» к чаю, кирпич популярного романа Харпер Ли, сменные туфли-балетки, горбушка ржаного хлеба, завернутая в пакет, для голубей, плеер, кожаная визитница, мягкий Вини-Пух с бочонком меда — на счастье. Сумка трещала по швам, но пока держалась. Некоторое время Катя думала, стоит ли надевать шапку. Вроде бы на улице тепло. Но кто знает, что будет вечером? Ладно. Секундочку... И компромисс был найден. Правда, для того, чтобы застегнуть молнию, сумочку пришлось прижать коленом к стене и, собравшись с силами, потянуть бегунок. Та-а-к-р-р-раз! И еще р-р-раз! Готово. Теперь можно идти.

Катюша последний раз взглянула в зеркало. И осталась довольна. Она выглядела естественно и мило. Никто бы даже не догадался, сколько сил и времени вложено, чтобы достичь этого непринужденного очарования.

Несмотря на легкую тоску по разрушенной семейной жизни (наверное, так начинается депрессия), настроение у Кати было хорошее. Правда, она не успела утром почитать сонник, чтобы узнать: к

чему снятся твои бывшие на белом коне? Возможно, к новым встречам. Ведь именно после такого сна в гости пришел загадочный Рома. И все-таки этот момент надо уточнить.

Она вышла на крыльцо и, не успев ни о чем подумать, проехалась — у-а-а-а — ших-ших, от крыльца по серой ленте вчерашнего ручья. Потом ступила на асфальт. Сделала неровный шаг, один-второй... и аккуратно растянулась прямо под окнами собственно го дома. Сумочка, подпрыгнув, отлетела в одну сторону, а перчатки в другую.

Всего за одно утро город преобразился и стал стеклянным. Солнце играло в окнах многоэтажек, мягко золотились стеклянные веточки стеклянных кустов, а дорога была такой гладкой, что, если пройти по ней рукой, смахнув налетевшую пыль, можно смотреться как в зеркало. Вот это да! Мороз狠狠но ушипнул за щеку. Раскинув руки, первоклассники весело ехали на новогодние елки, а ловкие ста рушки — в пенсионный фонд, используя клюшку как дополнительный мотор. И только Катя оставалась лежать. Так вот сразу прийти в себя не получалось. Было не столько больно, сколько обидно. Не самое удачное начало рабочего дня! Более того, резко захотелось спать. А в сумочке, что отъехала мертв на десять, тем временем звонил телефон.

7

У каждого есть свои сокровенные воспоминания, наполненные внутренней музыкой. Лизе запомнилось, как в детстве она гостила у бабушки в Серпухове.

Ночами читала старинные книги, которые лежали в шкафу. В них были описаны молчаливые люди, жившие в пустыне, где только львы изредка пробегут, взрывая лапами сухой песок. Старцы годами молились в глубоких пещерах. Красивые девушки, казенные в семнадцать лет, но так и не исполнившие желаний римского диктатора. Сила их веры притягивала и страшила одновременно. Приковывала своей далекой недостижимостью. По вечерам Лиза чай сами бродила по улицам города с соседкой Зоей.

Постепенно перемещаясь в иное, прежде неведомое, измерение, они забывали дорогу домой. Сапоги уже давно промокли и пирожки, купленные на последнюю карманную мелочь, закончились, а возвращаться все не хотелось. Иногда они выходили к вокзалу и смотрели, как мимо проносятся поезда; издав протяжный гудок, навсегда исчезают в непроницаемой вечерней темноте. На другой стороне от железной дороги в бревенчатых домах загорался свет, а из некоторых труб поднимался густой дым. Можно было предположить, что хозяева сидят перед самоваром и пьют крепкий, душистый чай, а их дети играют на коврике, болтая золотистым фантиком на ниточке перед носом серого Барсика. Мирный вечер перерастет в кроткую ночь, где лодочка месяца будет скользить над крышами, а далекие звезды тихо сияют.

Они спускались погреться в переход, и там их встречала музыка, задыхающийся бой гитары. «Есть только миг» — бывало, громко пел, чуть откинув голову, дивной красоты мальчик лет пятнадцати. Его светлые волосы, беспорядочные космы оттенка выцветшей травы, обрамляли узкое лицо с выразительными серыми глазами, которые странно блестели, когда он садился передохнуть на ступени. Он ходил в черном свитере крупной вязки, которая только подчеркивала бледность и худобу, потертых джинсах и кроссовках — всегда, в любую погоду, и в жару, и в мороз. В раскинутом чехле гитары непременно сияло несколько монет; более крупные купюры он, торопливо смяв, засовывал в карманы, а затем покупал на них газировку, связку бананов и сигареты. Спустя некоторое время мальчик исчез. Возможно, его убили. Дело в том, что ближе к весне в сугробе, недалеко от перехода, сотрудники милиции обнаружили чье-то тело, об этом с упоминанием на большой перемеже рассказывали одноклассники Зои. А может быть, он просто уехал, сел на случайную электричку да умчался в Москву.

Подруги уже спешили по пустынным улицам домой, а голос неизвестного гитариста продолжал звеньять, точно птица, которая пытается, но никак не может взлететь.

Так все и смешалось в один вихрь... Древние века, пустыни, святые люди, тела которых даже после смерти оставались нетленными. Они и сейчас были живы. Живее многих. Ходили невидимо где-то совсем рядом. Дышали за спиной. А «прекрасный миг» настоящего распадался сухими песчинками, рассеивался без остатка на ветру... Так, словно кто-то слепил из влажного песка случайный комок и швырнул его о стену.

8

Отряхнувшись, Катя осторожно пошла в сторону метро. На правую ногу было больно наступать, а бок сумочки теперь портила огромная вмятина, похожая на лунку, которую выкапывает садовник, сажая персиковое дерево.

— Ну чего там... — звучал тем временем в телефонной трубке бодрый голос одноклассницы Мариньи, — пойдем сегодня вечером в кафешку?

— Какую... — глотая слезы, спросила Катя.

— В «Шоколадницу» на Чеховской.

— Не знаю... не знаю... Мне еще вещи надо от Вадима забрать. Кто бы помог...

— Ну-у-у, — расстроилась Марина, — решайся скорей. Не хочешь на Чеховскую, можно на Лубянке, Поболтаем хоть.

Стеклянные улицы отражались в хрустальном блеске стеклянных домов, и небо было таким же: казалось, что по нему можно скользить. На лестнице, ведущей в подземный переход, Катюша вновь чуть не подвернула ногу, благо, успела схватиться за пер-

рила, а парень, что оказался рядом, вовремя протянул руку. «Напялят каблуки, а после шандарахаются, — недовольно просипела старушка в бежевом пальто и такой же бежевой шляпке, украшенной черным бантом, — такая вот молодежь пошла».

«Я же не знала, что сегодня так скользко», — соридалась ответить Катя, но, конечно, промолчала. Тем более что старушка тут же исчезла, растворилась в толпе, а вот услужливый парень слишком уж крепко держал ее за руку, помогая спускаться.

— Не хочешь сегодня вечером сходить в кино? — спросил он напоследок. — Меня, кстати, Александром зовут.

— Ну уж нет, — Катя резко выдернула ладонь, отодвигаясь, — Александр.

— Саша. Можно и просто — Сашок, — проговорил он, натянуто улыбнувшись.

Ей никогда не нравились слабохарактерные парни. Мямли, лишенные даже намека на брутальность. Рядом с такими чувствуешь себя неуютно, точно под небом во время дождя. Впрочем, у этого типа неуверенность смешана с наглостью, да еще какой.

Оказавшись внизу, Катя быстро, почти бегом, зацокала к эскалатору, хорошо, что билет приготовила заранее: удалось оперативно скрыться и вовремя за скочить в поезд. Как только двери поезда соединились, Катюша тут же легкомысленно забыла о не приятной встрече на лестнице. Она нисколько не со жалела о разрушенных планетах и взорванных горо дах. Более того, на повестке стояли другие, более срочные, дела: проявив чудеса прыткости, она успела занять свободное место прямо перед носом лысо ватого мужчины. Вот тебе и плюс крохотной сумочки по сравнению с пузатым портфелем, что замедля ет ход. Прислонилась к мягкой спинке, закрыла гла за. Улыбнулась. После ряда неудач день, несомнен но, начинал выравниваться.

В то скользкое утро Катя благополучно добралась до офиса и, поздоровавшись с коллегами, уже ставила сумочку на стол, как вновь зазвонил телефон. В помещении разговаривать на личные темы считалось опасным, слишком много лишних ушей, поэтому она схватила телефон и выскочила в коридор. Для подстраховки забежала в туалет и включила воду.

Звонил Вадим.

— Слушай, ты, — сказал он без всякого предисловия, — забирай свои манатки. Сегодня же, а то выброшу. Меня достали твои тюбики и платья. Разбросала везде. Дура.

— ЧТО-О-О?!

— А ничего. — И он отключился.

Дрожащими пальцами Катя ткнула «вызов» и тут же выпалила в пустоту, что образовалась после третьего гудка.

— Не везде! А в шкафу и ванной. На полочке. И не смей их трогать.

— Сегодня. Или я выброшу. На фиг все спущу в

цитаз.

От такой перспективы у Кати перехватило дыхание, она прижалась к стене. Хотелось обратиться в шпаклевку, что ровным слоем лежит на сером и холодном бетоне... И больше ничего не существует. Стена. Прозрачные границы между людьми. Каждый ходит, словно под колпаком, ничего не видит и не слышит. Только подумать, чем ему помешали флакончики духов и шампунь, синее французское платье, похожее на удлиненную рубашку, с белым бантиком под воротником?

Дернулась ручка, кто-то кашлянул за дверью.

Хватило сил не разрыдаться, хладнокровно приподнять задвижку и выйти в коридор, все такой же красивой и спокойной, разве что чуть более бледной, чем обычно. М-да... встречу с одноклассницей вновь придется отложить... Сколько ни собираяся, ни готовься к расставанию, ни мечтай об этом, все равно, происходит это неожиданно, будто с неба падает молоток. И вечно так: что-нибудь да забудешь. От грустных размышлений могла избавить только работа, предстояло позвонить всем, кто оставил заявки, а также сверить таблицу заказов. На некоторое время она вступила в пространство белых листов и голосов, обитающих в трубке без тела. Уже давно все разговоры с незнакомыми людьми ей представлялись в виде змеек, что сворачиваются на дне цилиндра и послушно поднимаются, раздувая жабры, стоит только сказать «аля». Примерно после сего «аля» Катя поняла, что не будет забирать вещи от Вадима. На душе стало легко и так свободно, будто после сильного весеннего дождя, что прошелся по улицам и разом смыв всю мерзость последнего, грязного снега.

В обеденный перерыв Катя успела сбегать в киоск и купить журнал «Жизненные происшествия». Дома обрели цвет спелого персика, а встречные люди улыбались.

9

Под ногами что-то всколыхнулось, а затем нырнуло в дряблую темень кустов. Жидкие сливки фонарей с трудом разбавляли черноту подворотни.

— От-ть... — Рома остановился.

За кустами образовались две яркие зеленые точки. Кошка.

Рома осторожно подкрался и уже в следующее мгновение держал, стараясь не прижимать к себе, огромного рыжего кота.

— Мяу! — возопил кот. Видимо, это был какой-то уличный бродяга, об этом свидетельствовали крючие усы, слишком твердые подушечки лап и простиженный голос, в котором, впрочем, угадывались и ноты оперного баса.

— Брысь, — великодушно согласился Рома и отпустил кота, — мы ошиблись.

Но кот, видимо, так не считал. Он недоверчиво посмотрел на своего похитителя и, подняв хвост трубой, побежал рядом.

— Брысь, брысь...

«Какое брысь, ты чего, хозяин, — кажется, говорил весь вид рыжего басиста, — кто ошибся-то? Это я и есть. Тот самый кот».

«Ты — не “тот самый”!» — на языке жестов пояснил Рома.

«Ну, а почему ты так решил?» — не сдавался котяра, — где доказательства?»

Из-за крыш выглянула полная луна, и сразу стало светлее, будто кто-то перемешал ложечкой кофе с молоком. Действительно, а где доказательства?

«Дорогу к своему дому “тот самый кот” должен знать», — вышел из ситуации Рома.

«Не спорю, ох не спорю». — И кот уверенно побежал вперед, изредка оглядываясь. «Вроде как ведет меня!» — изумился Рома и пошел следом.

Путь был долгим и мокрым, сквозь лужи, вода для которых сочилась из туч, и метель, что вязла под ногами; гораздо приятнее провести это время в теплой квартире Вероники.

Меж тем Катя, вернувшись с работы, поужинала, приняла душ и теперь, устроившись в кресле с томиком Харпер Ли, пытаясь приступить к чтению. Задно просмотрела журнал «Жизненные происшествия». Все истории оказались удивительно бледными и невыразительными. Счастливые любовники, квадраты и многогранники, чужое наследство, крушения самолетов и судьбы двойняшек, которые сорок лет искали друг друга в огромном городе.

На улице опять моросил дождик. Капли мягко ударялись в окно, создавая ритмическое колыхание аргентинской колыбельной. Перед тем как лечь спать, она выпила чашку зеленого чая с плиточкой молочного шоколада. М-м... как вкусно. Незаметно съела еще несколько ломтиков. Сладкая вязкость, растекаясь внутри, коснулась сердца, и сразу стало так тепло, что захотелось петь и танцевать без причины. Однако дождь все баюкал, тихо гудели над городом провода, и ровно в десять часов, как и положено по расписанию, Катюша заснула. В одиннадцать ночи пришла эсэмэска от Марины с предложением встретиться завтра в «Му-му» и наконец поболтать от души, а ближе к двенадцати — раздался стук в дверь.

10

Первое время Лиза часто вспоминала этого мальчика. Несколько раз она даже специально спускалась в переход, но его не было. Только поезда глухо шумели. И как-то раз, в монотонном стуке колес, она явственно уловила голос, который без слов только ритмом — что кружил, срывая всевозможные преграды своей радостью и печалью неизвестных дорог — пропел: жизнь чудесна, и она ждет, ждет, ждет. Каждое «ждет» падало точной каплей. После были долгие осенние сырье вечера, снежные зимы и цветущие летние луга. Лиза ездила на море, любовалась видом,

что открывается с высоких крымских гор. Усевшись на край обрыва, считала звезды, и волны пели свою вечную колыбельную.

Мир был так прекрасен, что хотелось плакать. Особенно, когда она видела, как лучи рассвета ложатся на мостовую и соседние дома, вспыхивая, окрашиваются в бледно-розовый, или как цветет под окном каштан, роняя белые лепестки. Лиза пыталась записать свои ощущения, но не всегда получалось. Впрочем, она никому и не показывала. Даже Роме. Самое страшное, что в этой красоте таилась червоточина. Томный яд разложения, струясь невидимыми потоками, присутствовал во всем. И в тихой улыбке спящего ребенка, и в полевых, еще не сорванных, цветах...

11

Катя уже не удивилась, когда темные сумерки сна вдруг свернулись и посыпались упругими мячиками стука. Можно было даже не смотреть в глазок, а сразу открывать дверь. За порогом стоял Рома, а рядом — огромный рыжий кот с глазами апельсинового цвета.

— Вот, тот самый! — без всякого приветствия тут же объявил Роман. — Между прочим, его зовут Апрель.

— Э-э... а ты... уверен? — Все это было слишком странно, если не сказать больше — абсурдно.

Вместо хоть какого-то вразумительного ответа и пояснения кот шагнул в квартиру и побежал на кухню проверить миску.

— Покорми лучше бедолагу! У них же нет паспортов, верно? Значит, тот самый. И он нашел свой путь...

— Его вела сила любви, — неожиданно сказала Катя и сама удивилась своим словам.

— Возможно.

Только тут она осознала, что стоит в одной длинной футболке и босиком перед чужим, почти незнакомым, человеком, возможно, преступником, недавно вернувшимся из тюрьмы, смотрит ему в глаза, улыбается, как последняя дурочка. А он, сдерживая ответную улыбку, тоже никуда не торопится, и крупные снежинки тают на его ресницах.

— Спасибо, что котика спас, — добавила Катя и чуть не расплакалась.

— Да не за что...

Эта пастораль могла бы продолжаться очень долго, если бы на кухне не раздался сначала треск, а затем звон.

Кот по имени Апрель явно был возмущен, что к его приходу так скверно подготовились. Пустая миска. Ни воды тебе, ни питания. Вот и пришлось разбить тарелку, пока пробирался к кастрюле. Однако и вожделенная кастрюля оказалась пустой. Один запах.

— Тихо-тихо, — порхала по кухне Катя, — сейчас найду сухой корм... Где-то он был.

Странно как-то — накормить кота, но ничем не угодить его спасителю. Заодно Катюша отварила сардельки, разогрела макароны, достала пряники с черносливом, заварила чай «Молочный улун» и... ночной пир начался. Каждому было что вспомнить и отметить. Апрель праздновал свое возвращение, Катя — избавление от тягостного прошлого, фальшивых отношений, прогнивших насквозь (Теперь, только вперед! Только настоящее!), ну а Рома — долгожданную встречу с любимой девушкой. Наконец-то Лиза изменилась, это произошло неожиданно, но очень естественно.

— Если честно, я уже не ожидал, что будет по-иному, — помолчав, сказал он. — Наверное, и твои советы помогли. И то, что к Веронике съездил... попытался съездить.

— Правда?

— Да. Наконец, познакомился с мамой Лизы.

Их квартира на окраине Москвы оказалась маленькой, но очень уютной. Кругом книги, белое панинио, заставленное разными поделками из бисера. В комнате Лизы, за круглым столом, они смотрели старые фотоальбомы. Еще запомнились цветы, лиана, бегущая по стене. На кремовых шторах были вышиты птицы с розовыми, широко распахнутыми крыльями...

Все как во сне... Шутки, пирог. Тонкие пальцы Лизы, блеск ее распущенных волос, когда она склоняет голову. Тихонько, пока никто не слышит, мама поделилась, что давно, очень давно ждала. И так рада!

Он представлял маму Лизы сухой и грустной, в бесформенном длинном платье. Боялся встретиться с черствой богомольностью и равнодушной отрешенностью от всего свежего, настоящего. А в реальности оказалось все по-иному. Даже икон в доме было не слишком много. Они стояли на полках, и золотистые нимбы походили на тонкую луну, что плывет из темноты мироздания, освещая путь.

— Иконы.... — удивилась Катя, — они что, еще и в Бога верят?

— Да... Этого я и боялся, если честно, когда познакомился с Лизой. Фанатизма.

— Во дают... Это во времена научного прогресса! Когда уже доказано, что земля, например, круглая, а не на слонах. Хотя с другой стороны... Ну, что-то там есть, я думаю. Правда? Что-то есть... — Она осторожно посмотрела на Рому. Он не смеялся над ней, как ее родные, когда она однажды заговорила о загробной жизни. Тема тут же была закрыта. «Девочка! Смерть — это конец, — мужественно констатировала бабушка, — тебя положат в гроб, и тело сгниет. Поэтому живи и радуйся, пока молодая! Выше нос. Ха-ха-ха!» — Что-то есть, — уверенное произнесла Катя, — такое. Душа, может?

— Несомненно, — согласился Рома.

На некоторое время они замолчали. Стало слышно, как медленно и необратимо настенные часы выстукивают секунды да съто мурлыкает довольный Апрель.

— Нет, Лиза верит, но не до фанатизма... — он говорил медленно, словно мыслил вслух, — что очень важно. Как-то раз был постный день, и Лиза захотела шоколадку. Я думал, она откажется. Нет, оказывается, можно шоколадку. Но... без молока.

— Горький шоколад?

— Да. Мне было весело. Так ведь можно найти и торт без молока. И заменитель мяса. Жизнь налаживалась. Однако... такой шоколадки в магазине не оказалось. Мы пошли в следующий. Потом еще в один. Читали состав. Каждый производитель, будто насмехаясь, добавлял хоть что-нибудь да лишнее. Здесь — «молочный жир», там — «яичный белок». Как-то незаметно от шоколада мы перешли на спор о смысле жизни. Я утверждал, что она следует формальным законам, мертвым буквам. Кажется такой религиозной, а на самом деле ищет обходные пути. Конечно, я просто шутил, подзадоривал. Но она не поняла. И мы поругались. Первый раз.

— А потом?

— Помирились и больше никогда не вспоминали... Но с тех пор я немного боялся. Религия — это сеть, которая опутывает человека. Зачем лишний груз и все эти правила, когда Бог так близко от тебя... стоит только заговорить...

— Да-да! И у меня такое чувство бывает. Расскажи, как ты попал в тюрьму?

— Интересно?

— Очень!

— Тогда разочарую... Я не сидел в тюрьме. Не сидел, хотя по моей вине погиб человек.

Катя чуть не выронила чашку и, вздрогнув, отодвинулась подальше. Ей сразу стало зябко и одиноко. Только что душевно говорили о смысле жизни, о смерти и прочих — почти не существующих в реальности явлениях — и тут... такое откровение. Какая дикость!

— Кто погиб?

— Муж Вероники. Это было несколько лет назад. Я звал их на речку, на рыбалку. Вероника не могла поехать, а я настаивал. У них недавно родилась дочка. Однако... мужик ты или нет, чтобы всегда дома сидеть?! И тут Кирилл согласился. Мы обещали вернуться к ночи домой, после выходных, а когда ехали обратно, то попали в страшную аварию. Да, встречная фура, с которой мы столкнулись, мчалась на дикой скорости. Да, без всяких правил. Но все-таки, мне кажется... я уверен, что можно было бы отскочить... Много раз прокручивал тот эпизод, когда уже было поздно. Поздно навсегда. С одной стороны, все произошло очень быстро. Словно земля огромной спичкой чиркнулась о звезды и вспыхнула. Но... Тот миг, когда нас выбросило с дороги, был бесконечно долгим. Потом стало темно. Кирилл погиб на месте. А я... отдался одним-единственным шрамом. С тех пор я не сажусь за руль. И... ни разу не навестил Веронику.

Так черный пазл по имени «тюрьма» все-таки нашел себе место. Правда, очень своеобразное, однако не менее зловещее.

— Теперь я поняла... многое. Ужасно... Ты хотя бы первое время навещал? Помогал?

— Не находил в себе сил и мужества.

— Ужасно... — повторила Катя.

— Знаю. Поэтому хотелось навсегда забыть.

Просто вычеркнуть из памяти. А вот видишь — не удалось. Трудности на пустом месте не возникают!

— Теперь у тебя все наладилось с Лизой, и вы будете счастливы. — Голос Кати почему-то дрожал.

Рома же продолжил ее мысль вполне весело и не-принужденно:

— И тебе не грустить! Улыбнитесь, капитан: мечты сбываются. — Потом он встал, еще раз поблагодарил за ужин и понимание, погладил по спинке кота.

На этом вторая встреча и завершилась. Теперь уже, видимо, навсегда. Катя стояла у окна, провожая Рому взглядом. Но он так и не оглянулся, чтобы помахать рукой. Быстрым шагом вышел из подъезда, завернулся за угол. Вот тебе и все. В квартире витало ощущение чужого недавнего присутствия, точнее, теперь уже отсутствия. И оттого, что все случилось так неожиданно и быстро, так сказочно-легко, Катя почувствовала себя особенно одинокой. Она не смогла заснуть уже до утра, все лежала и смотрела в потолок, который давил своей тяжестью, словно крышка гроба, засыпанного землей.

12

Впереди ждали только приятные заботы. Лизочка сообщила, что готовит письмо и скоро, под Новый год вечером, не ранее восьми часов, пришлет его на электронную почту. Поэтому Рома мог не торопиться. Сидеть одному и ждать — слишком тоскливо, и он вышел побродить по городу, подышать свежим воздухом. Все открытки уже отправлены, дежурные звонки сделаны. Оставалось только прочитать письмо и договориться о встрече. В новом году они будут вместе.

А пока можно просто идти без всякой цели вдоль шумных дорог и магазинов. Из друзей, пожалуй, никто бы не смог понять такого настроения: ты словно забываешь себя, растворяясь в большом городе. Заходишь пить кофе в случайный ресторан, смотришь, как сверкают на улицах елки и деревья, увитые гирляндами. Мечтаешь о любимой девушке. Все мысли простые и легкие, как облака в небе. Такое состояние появилось лишь после аварии. Возможно, это возрастные изменения. Раньше каждая минута была рассчитана под конкретное дело. Хотя бы под сериал, если уж выдалось свободное время. Теперь и все чаще появлялось желание просто смотреть на облака, что-то вспоминать, улыбаться встречным собакам. Некоторые из них, кстати, удивительно напоминают людей! Вы не замечали? Вот, например, толстый равнодушный мопс с отвислыми щеками, в меру брутальный и старый, он имеет свой стиль — такой спокойной небрежности, что граничит с наглостью, и, хотя очень активен в компании — не любит

суетиться. А вот безродная дворняга с быстрым, мутным взглядом. Напоминает поэта Макса. «Что-то я да значу, правда?» — говорит дробный стук хвоста. Эта вам не добродушный Шарик с вечным бубликом, что колышется над спиной, но звонкая спица, потерянная на ветру столетней бабушкой- ведьмой.

Забавным казался момент, что когда-то он мог серьезно относиться к этому недоразумению. Как он злился, когда Лиза вместе с Максиком шла до метро после занятий, или отвечала на его звонки, или вспоминала какой-нибудь избитый афоризм, услышанный от этого псевдогения. Одна из главных черт бездарности — не только повторять всем знакомые истины и суждения, но и навязывать их другим. Как-то раз они ходили все вместе на каток, а после пили кофе. Естественно, говорил только он. Рассуждал о значении Пушкина для наших дней. О том, что образ Татьяны — вечный, мистический, а хохотушка Ольга слишком проста, до очевидности и зубной боли, хотя и приятна во время танца. Видимо, вычитал в каком-то учебнике. Скукотища. Роман взглянул на Лизу и словно провалился в бочку с ледяной водой. Она слушала внимательно, не улыбаясь и почти не моргая. В ее глазах, широко раскрытых, затаилось что-то чужое, незнакомое, страшное. Страшное — в той отдаленности от всех быстротечных выражений ее лица, которые он хорошо знал, успел выучить наизусть. Может быть, взгляд оставался живым и теплым. Но — и это совершенно точно — не для него. Мимо, мимо. Куда-то вдаль. А Максик, казалось, ничего не замечал. Продолжал с упоением месить свою баланду.

Все эти прозрения — и гроша не стоят. Слишком мелочны, надуманны. Месяц назад они с Лизой поехали под Рязань погулять в сосновом лесу. Остановились в гостинице. Эти два дня, проведенные вместе, и стали лучшим свидетельством того, что они просто созданы друг для друга.

Утром он стучался к ней в комнату, и они вместе спускались в столовую. А затем, захватив с собой термос и теплые шарфы, спешили в лес. Гудели на ветру деревья, золотая листва казалась особенно яркой, весело струилась, мешаясь с облаками.

Неподалеку от гостиницы сохранились какие-то живописные развалины. Средневековые стены со стрельчатыми башенками и большими куполами, седыми от времени. Лиза много смеялась и пела о кораблях, что исчезают в синей дали. Ее голову в тот вечер украшал крохотный красный платочек, завязанный сзади, отчего она напоминала крестьянку. Непослушные пряди, что выбивались из-под платка, сбегая на высокий лоб и щеки, хотелось целовать вечно.

13

«Вот тебе и Новый год», — подумала Катюша и неожиданно разрыдалась. Новый год! У всех радость. Ну, или почти у всех. Столы уже накрыты, наряды выгla-

жены. Детки бродят вокруг шкафа, поджидая подарки. И только она, Катя Елифанова, совершенно одна. В большом городе и в целом мире. Сидит, точнее, теперь уже лежит, уткнувшись лицом в покрывало, на чужой, жесткой кровати. В чужой квартире. Капают секунды настенных часов, капают слезы. Впрочайной лодке под названием «Жизнь» образовалась трещина, и вот уже холодная вода заливает трюм. У нее нет друзей. Разве что Марина и Вероника... Но первая слишком занята, и с ней не встретиться в пресловутой «Шоколаднице», а вторая умотала неизвестно куда и никогда ничего не рассказывала о своем прошлом. Конечно, со дня гибели мужа прошло не сколько лет. Но поделиться с подругой можно было, правда? Так и получается, что мы живем в мире вечных недомолвок и жутких, никому не нужных тайн. «Еще и этот приперся, будто звали его, — подсказал внутренний голос, — свои делишки устраивать...»

При слове «этот» Катенька немного стихла и приподняла голову. Уже смеркалось. Так и не наряженная елка стояла в углу. Несколько подарочных коробок с цветными шарами и золотыми шишками, покрытыми блестками, остались нераскрытыми. Где-то наверху громко пели «Рюмка водки на столе» и временами хлопали в ладоши. Все было серым и неясным, как в первое утро после потопа.

А ведь начинался день хорошо. Катя вела себя вполне деловито, словно ничего и не случилось. Встала пораньше, сходила в магазин. Купила на базаре елку, игрушки, тортик. Да, вопреки всему, она будет отмечать Новый год. Зажженные свечи озарят комнату. Их огоньки отразятся в стеклянных игрушках, что будут висеть на тяжелых ветвях. Запах хвои и теплого воска... Тишина...

Именно таким представлялся праздник. Великолепие матовых оттенков и нюансы тишины. И тут, словно через веревку, протянутую посреди комнаты мальчиком-хулиганом, она споткнулась об одно воспоминание. На кухонном столе еще стоял чайник, заваренный прошлой ночью для Ромы. Чай был холодным и противным на вкус. Сложно объяснить почему, но именно этот чайник и стал отправным пунктом для печали, что тяжелыми цепями сковала сердце.

В девять вечера она по-прежнему лежала на кровати и плакала. В девять тридцать немного утешилась и уже просто смотрела в потолок. Где-то там счастливая Лиза встречает самого красивого (чего уж лукавить!) и веселого парня в мире. Ходит по комнате, прислушиваясь к шагам на лестнице.

В девять сорок Катя пришла мысль, не пора ли покончить с собой. Подумалось об этом легко, без всяких там взвешиваний «за» и «против», словно кто-то другой теперь дирижировал ходом ее решений и чувств. Пора так пора...

А еще через несколько минут в дверь постучали. На пороге стоял Рома. Он ничего не сказал, молча прошел на кухню и встал перед окном.

— Что случилось? — спрашивала Катя. — Что?!

Вместо ответа он достал из кармана сложенный пополам лист бумаги и протянул. Это было письмо.

— Читай. Она ушла... Навсегда.
— Как?
— С Максом.

Катя торопливо развернула письмо и, затаив дыхание, пробежала глазами.

«Прости меня, милый Рома. Знаю, что виновата перед тобой, но по-другому не смогла. Сколько раз я пыталась все объяснить — и не находила сил. Когда ты рядом, мне ведь ничего не надо. И я готова все отдать, лишь бы иметь возможность любить тебя. Те слова, которые я старательно готовила одна, наедине с собой — полностью исчезали, растворяясь в твоей улыбке, в теплоте твоих рук. Нет тех слов и той высоты в моей душе, с которой я могла бы хоть как-то, хотя бы частично, выразить Богу свою благодарность за встречу с тобой, за возможность нашей любви. Довольно странно идти в монастырь, когда здесь, в мирской жизни, все рушится. И совсем другое дело — когда тебе есть от чего отказаться и что терять... Но не это главное.

Ты знаешь, раньше я думала, что свобода — это твой выбор пути. Хотя бы так. Ты выбираешь — и готов с радостью претерпеть любые трудности и скорби. Вот оно, «несравненное право — самому выбирать свою смерть!» Но на самом деле, если по-честному, никакого выбора нет. Точнее, ты выбираешь — но не между двумя равнозначными путями, а между волей Бога и своеволием. Есть путь, предназначенный свыше, и путь твоего хотения. Они могут не совпадать.

Что считать волей Бога? Удачно складывающиеся обстоятельства? Удобно и легко с этим согласиться. Но... это будет лукавство. Нет, не всегда. Внутренний голос убежденно говорит: «Остановись, пока не поздно. Это — не твое!» И его, этот голос, невозмездно заглушить.

Монастыри я любила с детства, но особенно живо мне вспоминается такой случай.

Как-то раз мы поехали с тобой в дивное место, под Рязань. Остановились в гостинице на краю соснового леса. А совсем рядом восстанавливается монастырь. Между гостиницей и монастырем был общий высокий забор. По утрам в столовой бодро звучало радио. А в монастыре тем временем — глухо и печально звонил колокол. На балкон, зевая, выходили отыдающие, скрипели кровати, что-то рвалось с экранов телевизоров. Монахини шли на службу. Знаешь, в тот момент мне представилась вся наша жизнь. Как на ладошке. Полная предсказуемость: теплый яркий халат, пущистые шлепанцы. Румяна и пудра, что постоянно осыпается на щеках! А вот монахиням все это не нужно. Их лица прекрасны без обмана. В них нет той боли, что старательно замазываем мы на наших губах, искаженных страстью. В глазах — отсутствует земное томление и печаль по временной любви, страха ее потерять или тяжкое бремя утраты...

«Таких две жизни на одну, но только полную тревог, я променял бы, если б мог», — сильно сказано,

правда? Тревоги — это да. Но только когда они настоящие, бытийные. Мне же все тревоги мира, взятые вместе, напоминают бурю в стакане. Под Рязанью я осознала это особенно четко. Я просто слышала колокол и одновременно простенькую мелодию в столовой. Все радости мира, мечты и страдания были слишком малы и ничтожны по сравнению с той вечной реальностью, что совершилась совсем рядом, за стеной высокого забора, в нескольких шагах от крепкого пенсионера, спешащего после бодрой зарядки на завтрак...

Пробовала я читать, по совету мамы, Хемингуэя и Маркеса. Вдохновиться красивой одеждой. Подумать о больших, мировых идеях, а еще лучше — о маленьких детях. Скажу честно. Все это пленяет, хочется до слез. Но постоянно жить только собственным счастьем — невозможно. Любой сундук с бархатом рано или поздно достанется моли. Слишком уж ты мал под огромным, звездным небом, что простирается над нами... Слишком велика любовь, движущая вселенную... Другая. Непознанная, но желанная».

— О-фи-геть... — только и смогла произнести Катя.

— Вот так... — добавил Рома и, аккуратно сложив, убрал письмо в карман.

Кот Апрель, кажется, был смущен не меньше. Он отбежал от миски и развалился на полу, подняв кверху все четыре лапы.

Не сговариваясь, Рома и Катя прошли в комнату, сели на диван перед елкой и замолчали. За окном пролетали первые снежинки и опускались на карниз, сплетая недолгий, хрупкий узор. Потом замело сильнее.

— А с чего ты так решил? Она же пишет про монастырь.

— Откуда знаю! Когда я добрался до ее дома, ее уже не было, уехала в неизвестном направлении. Отправила письмо мне на почту. И... прощай. Хоть подыхай. Может, и в монастырь. Только вряд ли это! Моя Лиза была веселая, жизнерадостная. Да, она может ошибаться, творить глупости, но никогда не откажется от жизни в угоду каким-то там косным правилам и ладану.

— А Максик при чем?

— Телефон Макса молчит, это подозрительно. Вообще, честно говоря, и другие скрывают ситуацию, строят из себя наивных. Я сразу набрал всем общим знакомым. Кто-то говорит, что ничего не знал, другие — что догадывались. Словом, все обманывают и лгут. Все всё знали. Кроме меня.

— Как бы то ни было... Представляешь, сколько времени она тебя обманывала и разыгрывала! — И у Кати неожиданно потеплело на душе. — А подыхать не надо. Видишь, у меня елка. Еще нарядить не успела. Пошли в магазин за вином! А потом... куранты и новая жизнь. М-м...

Он ничего не ответил. Весь вид Ромы, его опущенные плечи и потухший взгляд словно говорили: «Какая такая новая жизнь?...»

— Одно непонятно: зачем сочинять всю эту историю про монастырь? — продолжила Катя.

— Естественно, зачем! Помнит, что я хотел его уничтожить, а повода не находилось... Это была не шутка.

— И как же теперь?

— Мало ли чего я когда-то хотел, Катя... теперь не важно.

И тут он неожиданно стал прощаться: слетаю к родителям в Самару, к утру уже буду дома, заскочил лишь по пути, чтобы хоть с кем-то поделиться...

— Так, может, все-таки чай? — Беспомощный вопрос так и повис в воздухе, будто нарисованная на холсте бабочка. Несмотря на трогательную улыбку и нежный взгляд, обращенный к нему, Рома лишь покачал головой и, махнув рукой, вышел за порог.

Сколько в жизни было этих самых самолетов...

Катя подошла к окну, отодвинула штору и чуть не закричала от неожиданности. Прямо на нее выползла сухая когтистая лапа и, ударив в лицо, тут же сжалась в моток спутанной серости. В этой копне Катя узнала некогда пышные, темно-бордовые цветы, которые она забыла полить. Вот так! Теперь сморщеные листья покорно опадали, а коричневые лепестки были готовы вот-вот рассыпаться от малейшего прикосновения.

Высоко в небе летели белые самолеты. Их путь лежал в сторону Африки и других теплых стран. А комнатные розы становились пылью, колючей, словно заноза. Любая влюбленность — это и есть заноза, и если вовремя не избавиться от нее, пойдет необратимый процесс заражения всего тела. Но иногда она проникает слишком глубоко, и тогда почти ничего не может помочь. Только одно. Нужно оторвать ногу или руку и далеко отбросить от себя. Для этого в специальных магазинах продают пилы. Но ведь никто не согласится стать инвалидом, верно? Уж лучше жить так, потихоньку, неспешно, растворяясь в грустных тягучих снах. Самолеты, обращаясь в журавлей, парили над землей...

14

Проснулась Катя на диване от странного шороха в коридоре. Возможно, она спала несколько минут, не больше, а может быть, и целый час. Вместе с поникшими цветами, что обнажились за шторой, в комнате вновь запахло чем-то давним, бывшим, горестным, как прекрасный, яркий закат над сгоревшим домом. Таинственный шорох в прихожей не прекращался. Явно, это были голоса, причем знакомые.

— Ну, как мы тут поживаем? — громко и отчетливо спросила Вероника.

— Вероничка!!! — Катя резко вскочила и, взбив рукой распущеные волосы, выскочила в коридор. — Привет!

Обнялись с налету и засмеялись. Вот так встреча!

— Как я поживаю... да как, ну так! — щебетала Катя. — Мне приснились твои цветы. Я их полить забыла, прикинь! И они мне приснились. А кота кормлю. Но он такой... не сильно общительный, вот.

— Да-да, — кивнула Вероника, — я-то на секунду забежала, сейчас к родителям и к дочке. Будем Новый год встречать. Вместе. Но, думаю, все-таки зайду, подарок вручу. Ракушки с океана. Держи.

Она протянула тряпичный пакетик, перевязанный алой ленточкой.

С кухни выглянула Рома и загадочно улыбнулся.

— Ой! — не удержалась от возгласа изумления Катюша.

— Да-да... Подхожу к подъезду — баах! Роман стоит. Ну и ну! Что да как... Мы ведь сто лет не виделись. Он особо не торопился. Зашли — а ты спиши да почиваешь. Решили не будить, сбегали в магазин, на стол уже накрыли. Милости просим. Только я недолго с вами посижу. Чуть-чуть.

После путешествия подруга выглядела еще более привлекательной, чем раньше. И дело не только в легком загаре, что среди бледной, дождливой зимы казался непростительно ярким. Вероника плавно расставляла чашки, что-то доставала из пакетов, и во всех простых движениях, даже в том, как она вытирала полотенцем руки, присутствовали неторопливая законченность и смысл.

— Не особо торопился? А как же... — собираясь спросить Катя про самолет, но не успела.

— Навестил я всех друзей, — перебил Рома. — Торопиться больше некуда.

— Ты-то ладно! — Вероника засмеялась. — Кота зачем-то притащили.

— Он сам пришел! — В один голос ответили Катя с Ромой.

— Кстати, а если не секрет, где твой кот?

— Катюх, я тебе говорила. Просто, наверное, ты забыла. Помнишь, когда мы по набережной гуляли в последний раз? Болел Мурзик и умер. Ему пятнадцать лет было...

— Точно... — Что-то смутно шевельнулось в памяти и тут же стихло. Видимо, это было в тот самый день, когда она увлеченно рассказывала про очередную недоскорую с Вадимом. По Москве-реке медленно плыли прогулочные баржи, больше Катюша ничего не могла вспомнить.

— Ну, забыла так забыла. Очень трогательно, что вы нашли другого. Ромка уже все рассказал. Так... а где штопор?

На белой скатерти уже были расставлены цветастые чашки с блюдцами, оставалось зажечь свечи и разлить вино. Видимо, Рома решил ничего не рассказывать про Лизу. Действительно, зачем вспоминать прошлое? В том, что он неожиданно вернулся и сидит сейчас рядом с ней, Катя почувствовала некоторое обещание, залог того, что все будет хорошо. Незаметно она тронула его за руку и с радостью ощутила ответное рукопожатие. Часы мерно отсчитывали время.

— Ну, с праздником! — скомандовала Вероника. — Я рада, что вы познакомились! За вас! За Новый год.

— Ура! — поддержал Рома. — За новое счастье! И новые радости! Пусть все плохое и грустное останется в прошлом. За это время Катя стала мне настоящим другом. Произошло это незаметно, почти случайно... и вот, однако, теперь... нечто большее...

— Молчи, молчи! — прервала Вероника. — Все после! После расскажешь. А сейчас — пьем.

«Нечто большее», — замирая, Катя с трудом верила в свое счастье. Это не сон? Нет, не сон. Глупое

сердце громко колотится. Вот он, мечта всей жизни. Именно по нему она необъяснимо страдала и ждала, когда встречалась не с теми. Живой, настоящий. Любимый. Вино наполнило сердце теплом, даже жаром. Подлинная, вечная жизнь была во всем и с избытком; горели свечи и сияли на елке шары; мерцали, пролетая в свете фонарей, крупные снежинки. Хрустальная пиала, доверху наполненная сладостями, напоминала сплетение морозного узора. Задумавшись, Катя рассеянно взяла и отломила одну плиточку. Положила в рот. Шоколад был горький.

Елена Тулушева

Чудес хочется

— Тук-тук! Можно?

— Заходите.

— Я с мужем.

— Ну давайте вместе, куда ж его деть... Ого! Это кого ж мы рожать будем с таким папой?! В вас сколько — метра три?

— Два... — Смущённый здоровяк протиснулся в кабинет.

— А вес?

— Сто двадцать.

— Что ж это вы, голубчик, эдакий шкаф, выбрали себе дюймовочку, а рожать-то ей как, подумали?

«Шкаф» сконфуженно заулыбался, отчаянно пытаясь сжаться.

— Да вроде она у нас небольшая, два восемьсот была по УЗИ в прошлом месяце, — посетительница пытаясь пристроить спутника в какой-нибудь угол, но тот постоянно что-то задевал и в итоге предпочёл просто замереть, взглядом умоляя больше его не трогать.

— Тогда УЗИ, и — вперёд. Роды первые?

— Первые. Боюсь очень!

— Ну что, женщины веками рожали, ничего.

А беременность какая?

— Я ж говорю, первая!

— До этого выкидыши, аборты, в том числе на ранних сроках?

— Нет, всё впервые!

— Ну, как скажете. Если вдруг вспомните, сообщите. — Он быстро заполнял бумаги, про себя вынося вердикт: «Наверняка врёт! И что ты с ними делать будешь? Небось наделала дел по юности. А если какие осложнения — нам ведь разгребать!» — Он недовольно поморщился, вспоминая осложнённые роды годичной давности. После того случая он стал крайне скептически относиться к информации из уст беременных и сейчас по привычке внутренне проговаривал: «Врёшь. И тут тоже врёшь».

— Игорь Владимирович, можно вас? — Раскрасневшаяся толстушка застыла в дверях с извиняющимся взглядом.

— У меня пациент. — Он резко обернулся и понял, что дело срочное. Вошедшая — медсестра Маша, работала в бригаде детской реанимации. Бригада укомплектована неонатологом и хирургом. Раз пришла за ним, значит, рук не хватает. Просто так во время приёма никто не заходит: персонал вышколен, отделение платное, пациенты возмутятся.

— Минуту, — кивнул он Маше. — Видимо, «сверху» звонят, начальство, сами понимаете, — обратился он к пациентке. — Вы пока снаружи подождите, я быстро.

Как только вышли из отделения, Маша затараторила:

— Там Кузякин разрывается. У нас плановое кесарево. Тройня. У одного на УЗИ выявили то ли грыжу, то ли опухоль, в общем, не отойти. А тут экстренную привезли. Схватки в метро начались. У плода сердцебиение плохое, похоже, обвитие. Меня отправили помочь, но Александр Степанович послал ещё и за вами.

— А Усачёв где?

— Усачёв дома после суток: дежурил за Камышевой, тот в больнице с язвой.

Когда они вбежали в палату, дежурная бригада суетилась в ожидании последнего этапа родов. Переодеваясь, моя руки, он отметил, что для ребёнка уже подготовили реанимационный набор.

Роженица была с виду крепкой. Длинные пшеничные волосы, даже слиплись от пота, сияли здоровьем. Орала она громко, значит, силы есть. Хотя обычно такие не орали. Он уже привык делить всех их на две категории: деревенские и городские. Конечно, не по месту жительства, на разговоры кто откуда времени тут не бывало. Деревенские, в его понимании, — плотные, мясистые, с крупными бёдрами и сильными руками. Рожали они так, будто в поле косили: жарко, сил нет, тяжело, но куда деться, сделай дело и отдохай. Такие инстинктивно знали, когда и как тужиться, как дышать. Городские же — вот это морока. Щуплые — в чём душа, всё за них сделай. И анестезию им побольше, и пить хотят,

прям умирают, а тут ещё моду взяли за деньги мужиков своих притаскивать смотреть. Врачей не слышат. Ты им — «дыши», а они тужатся, ты им — «толкай», а они — «не могу!» Правда, такие тысячу раз потом отблагодарят, и мужики их всей бригаде и конверты, и бутылки носят. Тоже приятно...

Эта была из «деревенских», но, похоже, ребёнку что-то мешало, и орала мать беспрестанно.

— Так, заканчивай кричать. Тут работы на полчаса. Ну-ка, соберись!

Роженица будто и не слышала, только орала и мотала головой. По глазам коллег он понял, что шансы ребёнка невелики. Сёстры начали распечатывать дополнительный хирургический набор.

— Сколько уже?

— У нас она четыре часа, да плюс пока везли. Сами сказать не может, как давно первая схватка была. — Маша суетилась, поправляя ему халат и натягивая перчатки. — Сначала шло хорошо, думали, стремительные роды будут. А как головка показалась, так и застопорилось. Очень долго не продвигается.

— А резать, видимо, было поздно... — пробубнил он сам себе. — Что делать, Саш? Может, надавить?

— Да уже пробовали. Давай, может, ты посильнее... — на лице его друга блестела испарина, сзади из-под шапочки пот каплями сползал по бритым складкам затылка за воротничок уже изрядно взмокшего халата. — Что-то неладно. Как выйдет, он — на тебе, мне — мать.

Через несколько потуг ребёнок наконец вышел. Мальчик. Синий. Тройное обвитие. Молчит.

Игорь быстро перехватил обмякшее маленькое тельце, в два шага перенёс его на столик, где сёстры уже приготовили трубки и отсос. Наспех обтерев ненадышащего младенца, он, как в режиме ускоренной перемотки, начал реанимацию. Счёт шёл даже не на секунды.

Вокруг было множество звуков. Саша сердито что-то требовал от сестры, со звоном бросал зажимы, равномерно пищали датчики давления, из открытого окна доносился звон трамвая. Но всего этого Игорь как будто не слышал. Его слух был настроен лишь на одну частоту: сигнал от этого маленького человека. Человек молчал. Игорь вновь и вновь методично выполнял инструкции учебника по экстренным родам. Он понимал, что каждая минута уменьшает шансы на жизнь, а каждая секунда может обернуться инвалидностью ребёнка.

Ему казалось, что прошло уже полчаса: время здесь растягивается. В реальности он спасал младенца всего несколько минут: без остановки делал не-прямой массаж сердца, ощущая под пальцами крохотные рёбра, которые вот-вот готовы были треснуть под его натиском. А там, за ними, всё ещё молчало маленькое сердце.

«Давай, парень, давай. Мы с тобой прорвёмся!» — Он пытался передать через пальцы свой импульс жизни, свою силу. «Давай, ты же мужик!» — уговаривал он.

«Стукнуло! Только что! пробилось ведь.. Молчит... Ну что же ты?! Показалось? Не может быть! Это ни с чем не перепутать. Ну же, давай! Один раз уже смог. Давай, парень!» — под его пальцами отчетливо послышался второй удар. Тишина. Еще тишина. Молчит... Вот он: третий. Четвёртый. Ещё!

— Умница! Настоящий мужик! Борец! Давай, мой хороший, не останавливайся. Мать тебя как услышит, взлетит от счастья.

Младенец слабо двинул ножкой, подтянул обе ручки к груди, медленно заворочал головой и издал слабый шипящий звук. Игорь подхватил его, ловко хлопнул по ягодицам, повернул головкой вперёд.

Слабое подобие детского крика заглушили вздохи всей бригады.

— Красавец! — Игорь завернул его в полотенце и двинулся к матери. — Ну, заслужил, брат. Вот она — мамка твоя! — развернул малыша лицом к маме. — Что, выкладываю? — обратился он к Саше.

Саша недовольно поморщился и отмахнулся.

— Да ладно тебе, Александр Степаныч. Ты же помнишь, решение главного. «Психологи установили, что в первые минуты жизни ребёнку необходим телесный контакт с матерью...» — Игорь передразнил главврача.

— Да шли бы эти психологи... — беззлобно буркнул Саша, — в бухгалтерию. Давай, быстро, я ещё не закончил.

— Слушаюсь! — Игорь комично поклонился и поднёс младенца к лицу матери.

— Уберите, — едва слышно прошептала женщина.

— Чего? — не расслышал Игорь. — Гляди, мама, вон какой у тебя богатырь! Давай положу его тебе, готова?

— Уберите, не хочу, — чуть громче прошептала она.

— Ну, приехали, «не хочу». Теперь, дорогая моя, лет на восемнадцать свои «хочу — не хочу» забудь. — Игорь поднял пищащего младенца повыше. — Теперь вот он за тебя решать будет.

— Не надо! Уберите! Я не хочу его видеть!

Игорь озадаченно замер. На родовые горячки он насмотрелся. Обычно он резко пресекал подобное поведение рожениц. А как по-другому: не рявкнешь на них, перестанут работать, а ребёнку-то ничуть не легче, чем им. Но сейчас он чувствовал такой прилив радости от того, что это маленькое сердце забилось под его пальцами. Ему не хотелось портить себе настроение, сегодня ещё до ночи дежурить в родовом.

— Ладно, отдохай. А мы твоего красавца пока взвесим и измерим. — Он направился к весам, бережно держа своего подопечного.

— Так, что тут у нас... Маша, записывай, три семьсот пятьдесят. Так... аккуратненько, головку... пятьдесят два сантиметра. Записала?

— Да-да, записала.

— Внешних повреждений не наблюдается. А конкретней наши неонатологи скажут, как освободятся.

— Игорь Владимирович, а как записывать — документов никаких нет.

— Как нет? А родовая карта? Сертификат? — Он держал малыша, невольно покачивая, пока сёстры нагревали лампу для младенца.

— Ничего не было. — Маша поморщилась. — Ни карты, ни паспорта. Спрашивали фамилию — не говорит.

— В смысле — не говорит? — у Игоря неприятно потяжелело в груди. — Тебя как звать-то? — повернулся он к родившей.

— Наташа, — вяло отозвалась она, прикрывая рукой глаза от яркого света ламп.

— Ну, ты не в первом классе, полностью — фамилию, отчество. Ребёнка как назовёшь, решила?

— Иванова. Иванна.

— Так, ребёнок, значит, Иванов. Имя придумала ему?

Женщина молча отвернулась. Игорь начал раздражаться. Саша как-то странно на него взглянул и тоже раздражённо начал поторапливать сёстёр:

— Я же сказал: восьмёрку! А вы мне шестой даёте! Вы на работе, внимательнее надо быть!

Игорь с мальчиком на руках подошел к матери.

— Так, давай-ка приходи в себя. Миллионы женщин рожают. Всё нормально. Нам тут время дорого, нечего тянуть. Карты у тебя с собой нет. Кто-то привезёт? Иначе нам нужно будет взять у него кровь на ВИЧ, гепатит.

— Берите, делайте что хотите!

— Приехали! «Что хотите» не можем. Теперь на каждый чих подпись матери нужна. Твой ребёнок — тебе решать.

— Нет у меня ребёнка! — крикнула она внезапно. — Не-ту! Это не мой! Уберите!

На мгновение все замерли. Стало слышно, как жужжит, нагреваясь, ультрафиолетовая лампа над детским столиком.

— Ты чего? Ау, мамаша, ты уже родила! Живой он, всё хорошо! Ты что же, не слышала, как он кричал? Вот, смотри, богатырь твой.

— Уберите. Не хочу. Я его не хочу. Я не буду его брать. — Женщина уже не кричала, а говорила громко, отчёлово и пугающе внятно.

— Игорь! — рявкнул Саша.

Игорь растерянно обернулся. Саша кивнул ему в сторону стола и чуть махнул локтем.

— Ничего, мой дорогой, всякое бывает! — приговаривал он, отворачивая всё ещё пищащего младенца, как будто заслоняя от матери. — Устала мамка твоя. Перепугалась небось, пока ты молчал. — Он сам бережно укутал мальчика в пелёнку и одеяло. — Но мы-то знаем, что всё у тебя в порядке, успел ты, братец, вовремя задышал. Умница, обойдётся без патологий. У Александр Степаныча руки золотые! — Малыш перестал пищать и как-то сосредоточенно начал разглядывать лицо врача. Игорь прекрасно знал, что в первые дни, а то и недели, младенцы не могут различать и понимать увиденное. Но сейчас

он был готов поспорить, что этот ребёнок смотрел ему именно в глаза, причём серьёзно смотрел, осознанно. — Ух, какой ты! Да, брат, задумайся. С женщинами этими нелегко, попробуй пойми, что у них в голове! Ну, полежи теперь, погрейся. — Он подмигнул малышу. Тот беззвучно шевелил губками. В груди всё так же неприятно давило. Когда он направился к Саше, ему показалось, что младенец смотрит ему вслед.

— Что у тебя? Помощь нужна? — Он говорил уже негромко и выдержанно.

— Нормально, заканчиваю. Что думаешь, она из этих?

— Из каких?

— Сяких. «Кукушка»?

Игорь не хотел об этом думать, он всё ещё чувствовал в пальцах отзвуки этих долгожданных ударов.

— Да не, просто очередная неженка. Распереживалась, вот и немного того на нервной почве, пока ребёнок молчал.

— Ну да. Вся ухоженная, а документов — ни единого. Как специально. Даже карточек кредитных не нашли. Подготовилась. Ты внимательно на неё посмотри.

— Некогда мне тут смотреть. У меня внизу контрактники. Так что, если тебе помочь больше не нужна, я пошёл. — Игорь чувствовал, как в груди нарастает тяжесть.

Направляясь к выходу, Игорь мельком ещё раз взглянул на мать. Ничего особенного. Баба как баба. Ногти накрашены, вроде приличная, на мигрантку или бездомную не похожа. В груди у него уже ныло так, будто сверху поставили мотоцикл. «Да мне-то какая разница. Мое дело — роды принимать, мне чистые мозги нужны, а не философствования!» — разозлился он.

— Игорь! Ты ещё здесь? Подойди! — послышалось сбоку.

— Тыфу ты, Кузякин, сядет, так не слезет, — пробубнил он себе под нос. — Что там у тебя? Тройня, говорят?

— Да у меня нормально, в третий загляни. Там одна акушерка, мне ещё зашивать, а там уже головка пошла.

В третьем боксе деловитая Марья Михайловна — акушерка с тридцатилетним стажем, уже организовала двух сестёр и готовилась сама принять роды.

— А, прислали! — забухтела она, снимая маску. — Ходят табунами, дел, что ли, у вас нет других.

— Нет-нет, я так, только если что пойдёт внепланово. Вы же сами справитесь? Или помощь нужна?

— Тридцать лет как-то обходилась. Вон ей помочь нужна. Успокой девчонку — перепуганная совсем. А здесь уж я разберусь.

Игорь улыбнулся ворчливой акушерке. Она, и правда,правлялась на «отлично» даже в экстренных ситуациях, ещё и врачей строила, если вдруг кто растеряется. Сейчас ему хотелось чего-то обычного, понятного. Хотелось, чтобы всё шло по плану. Нор-

маленький ребёнок, нормальные роды, нормальная мать.

На столе он увидел пустые метрики.

— Давайте заполню пока. Что писать, Марья Михална?

— Ничего не писать! Партизаны у нас тут.

У Игоря кровь прилила к вискам, тяжесть из груди начала перекатываться по всему телу, давя то на голову, то на ноги. «Ещё одна. Да что ж за день такой?! Чтобы два отказника за дежурство... Куда этот мир катится? — Он поморщился от штампованной фразы. — Ну, с этой всё понятно». — Он мельком окинул взглядом рожающую. Ей с трудом можно было дать шестнадцать. Удивительно, что решила выносить. Хотя Игорь был уверен, что такие просто затягивают до последнего. Сначала не понимают, что беременны, потом боятся сказать, а потом уже поздно abortion делать. Девушка ныла и причитала:

— Больше не могу, подождите! Совсем не могу!

— Милочка, я-то подожду, а девчонка твоя на свет идёт. Не обратно ж её запихивать?

Игорь всегда удивлялся, с каким юмором и при этом с теплотой и заботой Мария Михайловна общалась с пациентками. За столько лет ей бы давно уже выгореть. Сама четверых родила. Обычно его коллеги, особенно женщины, особенно родившие, говорили с роженицами жёстко, подчас резко. Не хватало сил на нежности.

— Ты чего там усёлся? — прервала она несвоевременные размышления Игоря. — Помоги человеку, успокой хоть. Или иди в свою операционную. Девчонка в первый раз рожает, молодая какая. Посмотрит на тебя и не захочет больше! — Акушерка шутливо погрозила ему пальцем. — Ты давай, милая, соберись. Эти мужики просто не знают, как оно. Только кричать и могут. Нам ешё пару раз поднапрячься, и всё хорошо. Вон уже столик нагрели, ждём твою принцессу.

Игоря всегда успокаивала слаженная работа. В такие моменты он вспоминал, как в детстве отец первый раз показал ему улей и он никак не мог поверить, что пчёлы сами так всё выстроили, как по линейке. Мария Михайловна умела чётко организовать процесс. Рядом с ней он всегда чувствовал себя нерадивым мальчишкой, которому только и могут доверить смотреть со стороны. Но сейчас ему именно этого и хотелось — стать просто винтиком механизма, чтобы отвлечься от своих унылых мыслей. Он отстранённо смотрел на эту девочку: волосы каштановые, веснушки. На шее крестик на простой верёвочке. Ему и жалко её было, и злился он на таких. Понятно, конечно, что совсем ребёнок. Но если до секса додумалась, то предохраниться тоже могла бы. И ребёнку всю жизнь искалечит, и сама ведь взвоет потом, ночами спать не будет, думая, где теперь её малыш.

Громкий крик пробудил его.

— Умница! Без разрывов! Ты моя хорошая! Ох, красавица у тебя, ты глянь, какая глазастая!

Игорь машинально встал и направился к выходу. Он несколько раз видел, как потом эти девчонки плачут, как мечутся, подписывая отказную. Смотреть на это снова не хотелось.

— Всё нормально? Я пойду?

— Иди-иди. Отлично у нас всё! — Марья Михайловна обтирала звонко кричащего младенца.

Выйдя из бокса, он мельком заметил, как акушерка кладёт ребёнка на живот матери...

Матери... Как они так: девять месяцев ходят и знают, что отадут? А мужики-то их — тоже странные. Это ж твоя кровь, как ты её отдать можешь, кому? Ничего ж не может быть в этой жизни настолько твоим, как ребёнок, инстинкт самца должен срабатывать. Никакой закон или обман не сможет сделать его не твоим: природа сильнее, как бы дальше ни пошло, но ты дал ему жизнь...

Игорь не считал себя религиозным. Да и о Боге вспоминал обычно только в самолёте, когда трясло. Но, размышая об отказниках, он был уверен, что так нельзя. И не важно почему. Просто нельзя, и всё.

Он спустился в платное отделение. Хотелось пить и выпить. Ещё хотелось в душ, смыть впечатления. Возле кабинета нетерпеливо расхаживал здоровяк. Его жена сидела, обмахиваясь журналом.

— Проходите! — буркнул Игорь. — Прошу прощения, вызвали. — Он совсем не был расположен к лишним разговорам и хотел пресечь излишнюю болтливость, свойственную беременным.

— Так... значит, УЗИ. Ложитесь. А вы берите стул, пододвигайтесь к монитору.

На экране замелькали привычные очертания. Всё выглядело нормальным. Хоть здесь можно не дёргаться. Он на автомате высчитывал замеры, заносил в карту, а в пальцах всё ещё ощущал робкие удары.

— Что-то не так?! С ней всё в порядке? Она в последнее время стала очень мало толкаться! — Женщина с испугом переводила взгляд с молчащего врача на озадаченного мужа, не имея возможности заглянуть в монитор.

— Растёт, вот и меньше места остаётся, чтобы шевелиться. Всё в норме. Я отклонений не вижу. По срокам — тридцать восемь недель.

— А лежит нормально? Нет показаний к кесареву?

— Если бы были, я бы сказал.

— Уф, слава богу! Я просто испугалась, мало ли что! — Она умиротворённо улыбалась мужу, удивлённо вглядывавшемуся в шевелящиеся на экране тени.

— Меньше себя накручивайте, и ребёнку спокойнее будет. — Игорь вдруг почувствовал какую-то странную тоску. Он смотрел на эту пару и представлял, с какой любовью они будут держать новорожденного, как этот «шкаф» всё же заплачет, перерезая пуповину, как целая делегация будет встречать её у дверей на выписку с шариками, надписями на асфальте, наклейками на машине. А для другого, такого же крохотного человека, первая встреча с родной матерью останется единственной. И забирать его будут дежурные сёстры Дома малютки. А его мать скончалась.

рее всего уже сегодня под расписку уйдёт через запасной выход, не выдержит после нескольких часов в палате с другими женщинами, не спускающими с рук своих малышей.

Пациентка что-то говорила, он машинально кивал в ответ для приличия ещё несколько минут, пока совсем не выдохся.

— Как схватки начнутся, берите такси и сюда. Обычная «скорая» не станет вас спрашивать, в какой роддом.

— А если не начнутся?

— Да куда они денутся. Кто там у тебя — мальчик?

— Девочка! — с нежной улыбкой выдохнула она.

— Ну, девочки могут лениться. Тогда через две недели будем стимулировать. Только предварительного позывоните, договоримся. Всего вам хорошего, меня ждут в родовом.

Закрыв кабинет, он зашагал в сторону выхода. Уже два года как не курил, но сейчас очень надеялся угоститься хоть одной сигареткой.

— Вот видишь, всё хорошо, а ты переживала. — Здоровяк обнял жену и поцеловал в макушку. — Только ты уверена, что хочешь рожать у этого? Какой-то он неприятный.

— Да вроде уже решили. Не знаю, может, просто занятой очень...

— Уж мог бы запомнить, что у нас девочка или хоть в карте подглядеть или на экране своём, раз такой занятой. Он за это деньги получает.

— Ты не заводись. Главное, чтобы не грубый, чтоб во время родов не прикрикивал, а то я ещё расплачусь.

— Ещё чего! Я рядом буду, я на него сам прикрикну, если надо. Идём. Мороженого хочешь?

— Давай! Лимонного.

Игорь не спеша подошёл к турникету на входе. Охранник поделился с ним «Явой». Дрянь редкостная, но стало полегче.

— Это вы Игорь Владимирыч? — окликнули сбоку. Доктор устало обернулся. Лопоухий паренёк лет шестнадцати растерянно теребил пакет из соседнего супермаркета.

— Слушаю вас. Только я очень тороплюсь.

— А я вас везде ишу! Я на минутку! Вот! — Парень протянул пакет. — Спасибо вам!

— Это что? — Игорь озадаченно взглянул на пакет, потом на его дарителя. Волосы растрёпанные, лицо неумытое, рубашка в пятнах пота, как у него бывает после дежурства.

— Это вам. Ну и тем, кто там ещё был. В магазине только это было. А мы потом уж отблагодарим нормально.

— За что? Вы, собственно, кто?

— За жену! То есть за ребёнка! За дочку! — Парень широко улыбнулся. Игорь скептически окинул взглядом собеседника ещё раз. Обручальное кольцо у того, и правда, имелось.

— Мне сказали, принимали вы и акушерка Марина... Забыл отчество. Это вам чаю попить. Что успел. Я ведь как ночью с ней приехал, так всё боялся отойти. Думал, это у них быстро.

— У нас нет Марин. Вы ничего не путаете на родостях? Спасибо, конечно, но мне, видимо, стоит это кому-то передать. Я роды сегодня ещё не принимал.

— Как же? — озадачился парень. — А мне сказали... Жена моя — Светка. Маленькая такая, с веснушками, волосы тёмные. Час назад родила! Дочку! Мы ещё не назвали: она переживала очень, сказала, что имя выбирать будем только после того, как родит. Первая у нас. Во, вспомнил: Михална. Марина Михална — акушерка.

У Игоря в голове складывалась картинка, но вид паренька не внушал доверия.

— Мария Михайловна принимала... Это сколько же вам лет?

— Девятнадцать! Обоим! — засиял лопоухий. — Мы со школы вместе. Сразу поженились и это... До-ча теперь! Спасибо вам!

— Да мне особо не за что. Основную работу делают женщины, мы лишь страхуем. Не рановато ли вы решились?

— Не, мы много детей хотим, пока молодые! — Парень почему-то похлопал себя по голове, как будто там находился источник молодости. — Короче, я побежал — Светка велела в церковь зайти, поблагодарить, что всё хорошо. У неё ведь всё хорошо там? У них то есть.

— Да, всё в порядке, насколько мне известно.

— Спасибо вам! До свиданья! — Парень впихнул Игорю в руку измятый пакет и побежал к калитке.

Игорь рассеянно смотрел ему вслед. Потом заглянул в пакет: «Торт и конфеты. Девчонки будут рады. Смешной какой — папаша...» В груди стало полегче. «Много хотим». — Игорь хмыкнул, вспоминая растрёпанный вид паренька. Хорошо, если так. Посмотрим, что ты через год скажешь.

В родовом уже ощущались сумерки. Каждое время дня здесь сопровождалось своим ритмом работы. Под вечер рожают больше. Счастливых измученных женщин с закутанными конвертами у груди вывозили на каталках. Звуки отделения превращались для него в шум единого механизма. Работа была отложена, как в муравейнике, хотя внешне могло показаться, что персонал двигается хаотически, бездумно пе-ребегая из угла в угол.

— Какой бокс рожает?

— Пятый!

— А почему орёт третий?

— Обезболивающее ждёт! Анестезиолог в первом — отойти не может, там кесарево с астмой, побочки на наркоз боятся.

— Пошли Валю в третий, обезболит своей болтнёй.

Игорь пару минут наблюдал за своим «муравейником», пытаясь отключиться от эмоций и настро-

иться на рабочий лад. В конце коридора стояла странная парочка: мужчина и женщина в бахилах и наспех накинутых одноразовых халатах. Женщина беззвучно плакала, приложив ко рту бумажный пла-ток. Мужчина что-то ей говорил, то как будто злясь, то пытаясь приобнять.

Игорь двинулся к ним. Явно не комиссия и не интерны. Не роженица. Родственники. Плачет — что-то случилось. Но почему сюда пустили? Если рожают в VIP-боксе, то сопровождающие находятся внутри — санитарные нормы. В случае осложнений должны проводить из отделения. Другим женщинам вовсе ни к чему переживать за чужие беды: им всем рожать в ближайшие сутки, и так перепуганы собственными схватками.

— Вы к кому? — начал он нарочито жёстко, как будто именно эти двое были виноваты в его сегодняшних наплывах сентиментальности.

— Мы из шестого блока. У нас контракт, подписано вашим главным. — Мужчина говорил выдер-жанно, но, видимо, из последних сил. Казалось, сейчас сорвётся на крик или плач. Женщина не подни-мала глаз.

— Родственники? Почему не внутри? — Он осёк-ся, понимая некорректность вопроса. Шестой блок как раз VIP. Раз вышли, значит, там плохо. Теперь в лучшем случае женщина окончательно расплачется, в худшем — начнут рассказывать, что произошло, а то и истерить на весь коридор.

— У нас тут беременные, со схватками, обстановка нервная. Давайте я вас провожу в холл. Там ку-лер с водой, автомат с кофе, передохнёте, — ему со-всем не хотелось знать, что произошло.

— Спасибо. — Мужчина поднялся, поддерживая жену под локоть. — Идём, посидим, всё будет хорошо.

Игорь довёл их до выхода. Мужчина поблагода-рил кивком. Возвращаясь в отделение, Игорь в оче-редной раз за сегодняшний день пытался перекрыть доступ к своим чувствам, мешавшим работать. Хотя бы на ближайшие три часа. Ему необходимы трез-вый рассудок и увереные руки.

Постепенно работа пошла ровнее. Он помог Ку-зякину, принял ещё двое родов, ассистировал при кесареве, заглянул на вечерний обход в детскую реа-нимацию. Напряжённый день съёживался под нати-ском густых августовских сумерек. Там, снаружи, они уже заволакивали небо, проникая во все закоул-ки. И только здесь, просачиваясь сквозь распахну-тые окна, вступали в неравную схватку с ярким боль-ничным светом.

Поток рожающих временно прекратился. Следу-ющий наплыв обычно наблюдался к трём часам но-чи. Обычно это были те, кто чувствовали первые схватки ещё с вечера, но думали, что обойдётся. А по-том, посреди ночи, просыпались с уже отошедшими водами. Привозили их быстро, хотя некоторые успе-вали родить в «скорой» или в приёмном внизу.

Но всё это позже. К тому времени Игорь будет спать дома под мерное жужжение телевизора. А пока

отделение затихает, чистится, приходит в себя. Сан-нитарки неспешно шелестят пакетами, сёстры за-гружают боксы лекарствами, врачи засели за карты. Любимое время дежурства. Обычно в такие минуты ему приятно было пройтись по палатам, поговорить с новоиспечёнными мамками, заглянуть в детское отделение. Там, в детском, он особенно остро ощу-щал свою причастность к этому священному действу природы. В своё дежурство он чувствовал себя первым крестным отцом всех этих малышей. Если Бог есть, он где-то наверху — над всеми людьми. Тогда он, Игорь, вот здесь, на земле, на своём участке, как маленький бог. Именно родов. Именно сегодня.

В ординаторской, обложившись бумагами, Саша накручивал на пластиковую ложку заварную лапшу.

— М-мм, жаходи. Чай шкыпэл вон, — прокарта-вил он с набитым ртом, кивая в сторону бурлящего чайника.

— Спасибо, гурман ты наш. Камышев с язвой, и ты за ним собрался? — Игорь плеснул кипятка и плюхнул-ся на диван напротив Саши. — Печенье, что ль, дай.

— Вон тортик бери, Марь Михална угостила. Наш любимый — с ромом. — Саша пытался поймать соскальзывающую макаронину. — Тыфу ты, идиоты, хоть бы вилку положили... Эта-то все-таки ку-ку.

— Чего? — Игорь не понял, о чём идёт речь.

— «Кукушка», говорю, наша, отказную написа-ла, зараза.

Игорь с раздражением подумал, что лучше бы и не заходил. За вечерней работой он отключился от воспоминаний об отказниках. А теперь в пальцах снова ощущал те слабые удары маленького сердца. Он постарался вспомнить наставления их профессора по этике. О праве выбора женщины, о жизненных препонах, о которых врач может и не догадываться, о том, что лучше неродная, но любящая, чем родная, но не готовая к своей миссии... Игорь взглянул на торт и вспомнил смешного молодого папашу. В душе что-то смягчилось. Ему захотелось и эту женщину простить, найти ей оправдание.

— Может, некуда ей взять его. Хорошо хоть ро-дила, а не убила в утробе.

— Да кто знает, может, пыталась, вот он у нас ед-ва живой и вылез. Карты-то нет. Я ж говорил, специ-ально без документов, чтобы мы её в отчётности за-фиксировать не смогли. Хитрая.

— Да кто знает, чего у неё в жизни было. А трой-ное обвитие у любой бывает, сам знаешь. Может, у неё мужик урод, не примет, а она любит его до безу-мия. Может, у неё рак или Альцгеймер, вот она и не хочет, чтобы ребёнок потом по ней тосковал. А мо-жет, её вообще изнасиловали.

— Давно это ты, Игорь Владимирыч, в сказочни-ки заделался? Сам-то хоть веришь в свои бредни?

— Да просто денёк сегодня тот ёшё. — Игорь сму-тился, что Саша уличил его в сентиментальности.

— А, про странности... У Кузякина-то сегодня VIP-шники что отчудили! Там суррогатная мать, эти ей все по высшему разряду оплатили, нарядились,

все роды там торчали, на камеру снимали. А она рожала, а отдавать отказалась!

— В смысле? — Игорь не успевал переваривать все этапы истории.

— Без смысла! На руки взяла и как заревёт, мол, не отдам, он мой, не могу. У Кузякина первый раз такое. Он их выставил, пытался с ней поговорить, а они и сами давай реветь.

— Я видел их, — Игорь представил себя на месте Кузякина — стал бы он вмешиваться, уговаривать... — Вот и не поймёшь, кому из них сочувствовать. Они, наверное, бесплодные... А получается, по закону ребёнок их, если яйцеклетку ей пересаживали?

— Да нет у нас никаких законов, ты где живёшь?! Она выносила — ей решать. Хоть пятьсот контрактов подпишет, за ней последнее слово. А вот ей точно взять некуда. Девчонки сказали, у неё своих трое, мужа в пьяной драке убили год назад. Решила заработать, чтобы детей поднять. Не заработала! Они теперь, наверное, и деньги за роды потребуют вернуть и за беременность. С чего она отдавать будет? Но вцепилась — ни в какую.

Игорь медленно переваривал услышанное... У него ни разу не было родов с суррогатными, и он слабо представлял, как это бывает. Сразу ли отдают родителям или выкладывают на живот. Или к груди прикладывают. Дают ли попрощаться или поскорей уносят... Он представил эту женщину, сидящую там, в навороченной палате, с малышом, которого она носила, зная, что отдаст. И вот — не смогла. Держит его и плачет. Думала, сможет, но природа взяла своё. И как она вместо денег принесёт домой ещё одного голодного птенца. И как она дальше с ними будет...

— А эти какие-то крутые, с главным всё направью решали, фамилии зашифрованы, чтобы никто не узнал потом. Понакупили уже всего, всю палату заставили и игрушками, и льюльками, одёжками. Не знаю, уехали или сидят ждут, вдруг передумает...

— Вот не позавидуешь! Слушай, а там кто у них родился?

— Да вроде пацан. Да кто б ни был, им от этого не легче.

— Может, им этого предложить? «Кукушонка» твоего?

— М-мм, ну предложи, и чего? Они своего ребёнка ждали. Суррогатная, это ж биоматериал их!

— А я тупой такой, не знаю. Но я ведь вот про что: если они так хотели ребёнка, может, возьмут? Такие крутые, наверняка всем близким растрезвонили, может, она даже фальшивый живот носила, чтобы не догадались. Как им возвращаться без ребёнка? А тут в тот же день, в том же роддоме, как будто знак, понимаешь? Да и мать эта, мы с тобой подтвердим, вполне нормальная, на наркоманку или сумасшедшую не похожа, младенец без патологий...

Саша нахмурился:

— Чудес, что ли, захотелось? Так это ты, Игорёк, не в том месте работаешь. Ты бы в фокусники пошёл, пусть тебя научат.

— Да ну тебя. — Игорь хотел разозлиться, но почему-то расстроился. Чудес и правда хотелось. Настолько, что комок подкатил.

— Может, тебе выпить?

— Может. Ты налей, а я пойду всё-таки попробую с ними поговорить. Я быстро.

Саша сочувственно проводил приятеля взглядом.

— И заявление на отпуск заодно напиши, а то совсем чудить начал! — Он достал из ящика потёртую флягу, две крохотные рюмки и аккуратно расставил на столе.

Слава

Звонок в дверь. «Вот уроды, к матери, что ли? Скоро вроде Рождество, наверняка кто-то из ее церковных, кто еще придет в такую рань, когда у страны двухнедельный запой — только эти, святоши. Башка раскалывается. Надо Филу набрать, сегодня хоть выйти освежиться. Что ж так долго не открывает?! Убил бы, весь мозг прозвонили!»

Не вынимая головы из-под одеяла, он нащупал на полу липкий мобильник. Дрянь какая, опять звали. На раздражавшем глаз дисплее высветилось 7:30. Что за... Ну это уж слишком! К матери в такую рань никогда не приходили. Совесть-то у них должна быть... Или не к матери?.. Неприятный холодок пробежал по хребту до самой макушки. Спокойно, что дергаться, уже три дня прошло. Черт, в голове засучало, как молотком. «Славик, тебе же врачи говорили, нельзя пить столько — у тебя давление!» — скривя лицо, он спародировал мамину интонацию. Забавно. Он начал вспоминать лысого Игоря Владимира, который через тройные бифокалы внимательно разглядывал волны его ЭКГ: «Ну и куда ж вы, молодой человек, такими темпами приедете? Сначала алкоголь, потом пьяные выходки, незащищенные половые связи, наркотики... а с вашим сердцем, не дай Бог!» Да уж, мужик, тебе-то Бог явно всего этого не дал, так что не завидуй».

Воспоминания оборвал повторившийся звонок. Неожиданно для себя он съежился и вжался в спинку дивана. «Да что это я? Сейчас мать откроет или спровадит кого там принесло».

В коридоре послышались спешные шаги, а из спальни — недовольное ворчание отчима. Секунды превратились в тягучую смолу. Почему не открывает? Поддавшись какому-то животному страху, он вытащил голову из душного тепла и начал прислушиваться. Мать явно была растерянна, открывала медленно, осторожно. Мужские голоса. Неужели все-таки к нему?! Забыв о тяжести похмелья, он в одном скачке дотянулся до двери и задвинул щеколду.

Глупый детский каприз, когда он потребовал от матери замок на дверь, кажется, впервые в жизни помог ему почувствовать себя в безопасности. Тогда, в двенадцать лет, его раздражало ее вторжение в самый разгар игры в «приставку» с ребятами с ее стан-

дартными «мальчики-не-хотите-покушать». Он нахмурился — сейчас не время для детских воспоминаний, надо срочно прийти в себя.

— Вот, пожалуйста, ордер на обыск, — послышалось размежено из коридора. — Да вы не переживайте, вы же знаете — Слава у нас на учете давно. Разговор, конечно, серьезный. Думаю, он сам сейчас все расскажет.

— А обыск зачем? — Голос матери звучал встревоженно.

На него накатила паника. Он замер, зацепившись взглядом за книжную полку. «Черт, книги! — Две полки готовых улик, все вперемешку. — Скорей, думай же!»

Стук в дверь. И следом бешеный стук — сердце.

— Слава, к тебе пришли. Из милиции. — Мать всеми силами старалась придать голосу твердость и спокойствие. Получалось плохо. Задрожав, как в детстве после холодной речки, он с трудом нарочито безразлично выдавил:

— Ща, мам, я голый. Сейчас штаны натяну.

— Может, вам пока чаю? Давайте я документы за одно поищу. У него выписки есть, характеристика из колледжа хорошая. Мы тогда для комиссии брали, после их собраний на Манежной площади, помните?

— Да уж как не вспомнить, Татьяна Борисовна. Собраньице вышло у них на славу. Это уже какой — третий его привод был? Давайте, несите бумажки, они ему пригодятся.

«Думай, думай же! Ты же умный! Среди всех этих тупых баранов ты из тех единиц, которые реально понимают суть движения. Вот они — доказательства твоего интеллекта — черные обложки, затертые страницы... Это же могила — точно зона!.. Окно... Еще темно, холод, все спят, никто не услышит!» Он подбежал к подоконнику — от рамы потягивало зябкой промозглостью, на улице медленно падали редкие снежинки. Плохо, не заметят — вдруг найдут? Хотя как докажут? Тогда, на Манежке, у них даже на камерах мелькала его фигура — и то не сумели, не пойман на месте — не вор. Пришлось отпустить за неимением доказательств. Скорей, в запасе минуты две, не больше.

Старые расшатанные стеклопакеты открылись бесшумно. Он сгреб с полки полную охапку, свалил на подоконник и неловкими движениями начал выкидывать книги как можно дальше в окно, чтобы не ударились о балконы или карнизы нижних этажей. Внутри все кипело. Казалось, он теряет драгоценное время, не в силах поворачиваться быстрей. В любой момент они могут ворваться. Вторая полка, самое дорогое, его любимое. Книги будто цепляются за шкаф, возмущаются. Их совсем немного — но этого достаточно, чтобы все сломать. Последняя партия почти растаяла в окне. Осталась только она — его гордость, святыня, книга «великого тирана». Он в ярости кротился по комнате, пытаясь пристроить ее куда-нибудь, где не найдут.

Идиот, раньше надо было думать, никаких секретных мест или лазеек. Всё на виду. Эта привычка с ка-

детского корпуса — там быстро «объясняли» новичкам, что такое «прятать»: твои вещи никогда не могли быть только твоими, если ты не из сильнейших.

Три года кадетства — три года тоски, унижения, бесконечной борьбы за выживание. Он так и не смог простить матери все эти скитания — пятидневки в саду, лагеря на все три смены и, наконец, — подобие армии для сотни брошенных мальчишек. Первое время он тайком плакал, каждые выходные жаловался ей, просил забрать, обещая прекратить школьные драки и прогулы. Она только разводила руками: у нее работа, надо на что-то жить, тянуть его в одиночку, совсем не остается времени за ним следить. Он кивал, старался понять, вытирая слезы и снова возвращался туда каждое воскресенье. Он старался, но так и не смог простить. Там было совсем не так, как показывали в старых военных фильмах. Чтобы выжить, нужно было драться. Постоянно, за все: за очередь в душ, за вторую котлету, за свою койку у окна. Он дрался с яростью, мысленно представляя в каждом обидчике пьяного отца, которого так и не запомнил. Он с недетской жестокостью бил в лицо, под дых, представляя, как отец корчится от боли. Сначала он дрался, чтобы выжить, защитить себя, затем, завоевывая все больший авторитет, он дрался уже просто, чтобы удержать позицию. Ему нравились восхищенные взгляды ребят, когда он входил в «качалку», нравилось чувствовать бешеный стук сердца, привкус крови во рту.

Стук сердца... Сейчас оно билось так быстро, будто боялось, что скоро замолкнет. Прятать некуда — последняя книжка полетела в окно. Он глубоко вздохнул, вытер потные ладони о простыню, натянул домашние треники и направился к двери.

— Здрасьте, а вы ко мне? — Он не пытался делать вид, что удивлен.

— Ну привет, Слава. К тебе, давно не виделись. — Лицо лейтенанта изображало пародию на улыбку. Второй с раздраженно скучающим видом мешал сахар, мерзко позывая ложкой. Звук отдавался в голове долгим эхом.

— Да вроде не так уж и давно, — просиял как можно более беззаботно Слава, — с прошедшими вас!

— Ну что, сам расскажешь или освежить твою память? — Поздравление с праздниками не добавило лицам гостей доброжелательности.

— А что, случилось что-то?

— Значит, освежить...

— М-м, да вы начните, а я, может, вспомню. Сами понимаете — Новый год, каникулы. — Желудок начал ныть и выкручиваться, к горлу подступила тошнота, во рту пересохло.

— Где ты был в ночь с первого на второе января?

Конец. Время остановилось, стук внутри тоже замер. Они знают. Откуда?! Это точно конец. Сколько раз все проходило гладко, неужели Фил? Да нет, не мог он. Хотя если взяли с чем-то, надавили, мог и сдать... Сами, идиоты, без масок вышли. Но ведь

смотрели по сторонам — никого вокруг. Этот второй не мог знать ни имен, ни адресов. Он и опознать бы их вряд ли смог — темно было, все на одно лицо. Сколько таких ходит по району в праздники. Недоглядили. Да что там — в пьяном угаре можно и не такое проглядеть.

Главное — не молчать слишком долго, а то точно уцепятся. Так, пришли в 7:30. Значит, боялись не застать. Значит, дело еще не завели — выслали бы повестку, наверное. Возможно, ничего у них и нет, пришли так, просто подозревают. Районная база состоящих на учете не такая уж большая, вот и ходят, выискивают, может, кто сам дрогнет — сознается. От этих мыслей стало легче: вывернулся. Презумпция невиновности, всё такое.

— Ну, с первого на второе... я как все! — так же безмятежно улыбнулся он.

— Как кто — все? — Тот, что пониже ростом, Павел Сергеевич, начал заметно раздражаться. Он лично вел дела Славы, был его «куратором». Нормальный в принципе мужик, сколько раз болтали вне стен отделения, бывало, смеялись вместе. Но сейчас... сейчас он смотрел совсем по-другому, как будто у себя в кабинете, полном других ментов. Может, дело во втором, что пришел? А зачем они пришли вдвоем, раньше такого не было... Спокойно, надо прекращать улыбаться, лучше прощупать, что у них реально есть.

— Как все — пил с ребятами. Потом еще с девчонками из колледжа. Вы скажите время, чтоб я припомнил.

— Время, Слава, с двадцати трех до полуночи. Ну и, собственно, после полуночи тоже.

Знают. Пропал. Всё сходится. Лицо начало гореть, на лбу выступили капли пота. Теперь бы понять, как много они уже знают, да не сказать лишнего.

— Думаю, мы гуляли. Вроде... Да, гуляли по району, петарды пускали. Ничего особенного.

— Ну да, действительно. А что было потом?

Просто давят, разводят. До последнего надо отпираться.

— Да всю ночь и гуляли. Потом... под утро домой. Вроде.

— Да, он пришел около пяти. Ключ не взял, мне пришлось открывать, — все это время мать молчала, боясь пошевелиться.

— Татьяна Борисовна, ваши показания нам понадобятся позже! — Мать невольно замолчала, обворванная на полуслове, и начала бесцельно переставлять предметы.

Они и правда начинали злиться. Пятое января, 7:30, выезд с обыском. За смену заплатят по праздничному тарифу, но все же они надеялись провести ее в теплом кабинете, по очереди отсыпаясь и просятывая повторения новогодних «Огоньков». Но на них повесили эпизод с нанесением тяжких телесных повреждений, да, возможно, еще и по 282-й статье. А с нынешним мэром вся верхушка готова выслуживаться по этой линии, целые блоки профилак-

тической работы разработали. На бумаге, конечно, но трудились же. И вот тебе — малолетние прикурки не рассчитали силы. А по шапке получит весь отдел.

— Слава, мы тут до ночи сидеть не будем. Или сам расскажешь, или посидишь у нас сутки, поумнеешь.

— У вас? Да что он сделал? Он мой сын, я имею право знать, с какой целью вы его допрашиваете! Он несовершеннолетний! — Голос матери звучал истерически.

— Татьяна Борисовна, — уже на повышенных тонах продолжал Павел, — ваш сын, Слава, подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений в виде ножевых ранений. Радуйтесь, что еще не с летальным исходом. Но это — уже возможно реальные сроки, а не условка. А это, соответственно, значит — и вам, и Славе стоит с нами сотрудничать. Вы меня хорошо понимаете?

«Радуйтесь, что не с летальным»?! Идиоты, не добили, не проверили. Баран, надо ж было так, ведь нож был, столько ударов — все мимо, что ли?!

Голова закружилась. Перед глазами замелькали едва сохранившиеся в памяти картинки. Он выходит из дома с ножом. Просто так, весь день пил, и адреналин зашкаливает. Фил и Лось ждут у подъезда. Пьяные. От холода, наверное, их понесло. Им весело и хочется беситься, как в детстве, тупо громко ржать и бегать. Провал. Сколько прошло времени — час, два? Потом картинка: убегающий мужик под их громкое улюлюканье... Жалкий трус — сбежал, бросив дружка на расправу. Его уже повалили и дубасят ногами, прыгают, довольно скалятся. Это вкус власти над чьей-то жизнью, с каждым разом он всё сильнее и сильнее. А потом — нож. Он не мог вспомнить, в какой момент достал его и как решился... Да вряд ли он вообще мог тогда думать. Картины сменяли друг друга, как за окном поезда. Он ударил его ножом, он помнил это ощущение — раньше не знал, как это — когда лезвие протыкает кожу, входит в мышцы, застревая меж ребрами. Раньше он дрался только руками и кастетом. Было холодно, от удара рука начала заливаться теплой кровью этого урода. Это было чем-то новым, и он вспомнил, как замер, разглядывая стекающие по рукоятке капли. Что произошло дальше — никто не понял. За эти дни они еще не успелипротрезветь настолько, чтобы все обсудить. Только картина в голове, как этот бежит к ближайшему подъезду, бормоча что-то на своем языке. Как он мог бежать? Может, показалось? Пьяный угар? Нет, он помнил пик своего бешенства — это было уже в подъезде. Он не орал, он хотел просто убить. «Убить, убить эту тварь», — снова застучало в голове, как в ту ночь.

— А почему я? — Он уже не мог прятаться за маской беззаботной улыбки.

— А тебе доказательства, что ли, нужны? Ордер на обыск ни о чем не говорит? — в ухмылке Павла читалось раздражение вместе с досадой. Он как будто и не хотел особо заморачиваться, да работа такая.

— Насколько я знаю, мне адвокат полагается. Я ведь могу без него ничего не говорить?

Выражение досады сменилось безразличием.

— Можешь, конечно. Насмотрелись американских боевиков, адвоката ему. Раньше чем думал?

— Только в отделение все равно с нами придется пройти, — впервые подал голос второй, который был крупнее и, видимо, тупее Павла, — бумаги подписать должен, что мы приходили, протокол оформить нужно.

— Да и полезно тебе будет кое-что увидеть. Может, и адвокат не понадобится. Ну, а обыск мы сейчас должны провести. Понятых бы надо, Татьяна Борисовна. Видимо, соседей ваших придется будить.

Взглянув на мать, он заметил, что она будто постарела за эти несколько минут. Она не поднимала глаз на Славу. Она стояла, как тогда, когда он видел ее на воскресной службе в церкви. Она затащила его в тот раз только потому, что ему нужно было получить ее согласие на бойцовский лагерь. Взамен Слава согласился отстоять службу: пара часов скуки за три недели настоящей свободы — небольшая цена. Он с тоской разглядывал толстых теток в платочках (если они все постятся — почему такого размера?) и странных мужиков с блаженными лицами.

Неужели мать думает его таким способом изменить? Глупо. Кроме отвращения, ничего. Ну и смех иногда берет, глядя, как они чуть ли не лбы расшибают в поклонах. А потом он увидел ее... как-то по-новому увидел. Они никогда не были близки: она постоянно его куда-то сдавала, перепоручала, избегала разговоров, редко обнимала. Но в тот момент она показалась совсем чужой и далекой, как из другого мира. В этом своем смиренении, в этих шепчущих губах, складках на лбу — она была пугающе чужой. В тот момент ему стало так больно, так горько от своего одиночества. Он возненавидел ее Бога и всю Его церковь. Возненавидел со всей детской беспощадной ревностью. И с каждым годом, с каждым очередным церковным праздником, с каждой новой книгой, которую она пыталась ему подсунуть, эта ненависть только росла.

И сейчас она стояла перед ними, как тогда, в этой смиренной позе. Ему стало тошно и гадко, она была ему отвратительна, она всегда пыталась вызвать у него чувство вины, это бесило. Где же ее дорогой Бог? Что ж не поможет? Ах, ну да, ей-то Он поможет, но не Славе. Ведь это же она любит Его. Раньше ее слова вызывали боль и обиду: «Славик, больше всех я люблю Бога, а на втором месте навсегда будешь только ты. Так должно быть у верующих, ты не можешь обижаться!»

Ну да, конечно. На втором месте у родной матери! Никогда я не буду вторым, я — первый, я — лидер! — он жил этой идеей лет с двенадцати, с тех пор, как мать, по его выражению, вдарила в религию, променяя на нее, — он с горечью повторял это, расправляя душу, — его, Славу, единственного сына.

На зону не хочется. Хотя малолетка ему уже не светит, можно не бояться этого зверя, а по законам

взрослой за его статью будут только уважать. Для некоторых, особо ценных в сообществе, специально есть фонд — из него на зону шлют деньги, технику. Он сам переписывался с одним таким: шесть только доказанных убийств в Воронеже, уже вторая судимость. За это свои его не забыли: ноутбук с круглосуточным Интернетом — выкладывает фотки каждый день! Ну и ничего — живет там, не напрягаясь вроде. Не все так страшно... Да и вообще пока рано еще волноваться, пока кроме учета у него даже условки нет, все только грозятся.

Пришли соседи, он проводил их всех в свою комнату и вышел. Не хотелось всё это видеть. Книги выкинул, нож еще в ту же ночь спустили в канализационный сток, одежда, выстиранная, на балконе — следов крови там не было. Пусть сами шарят. Сначала он подумал остаться — насмотрелся сериалов, где менты что-то подбрасывают по ходу обыска, но, размыслив, решил, что это не его случай. Его же не в распространении подозревают. Да и Павел вроде нормальный мужик. Голова гудела, каждый шаг был в тягость, хотелось сигарет и пива. Он вышел на балкон в гостиной. Уже светало, редкие снежинки исчезли, оголив грязные тротуары. Там, снаружи, было так же паршиво, как внутри: грязно и холодно. Паника сменилась какой-то обреченностью. Он просто ждал. Сил не было спорить, что-то доказывать, отмазываться. Он долго стоял, прищурившись в поисках решения, как вести себя дальше. Бороться сил не было, да и глупо: раз обыск, значит, зацепок достаточно. Но просто сдаться ментам с чистосердечным и молча вздыхать — это не для него... После нескольких затяжек немного отпустило. Руки перестали дрожать, морозный воздух остудил голову. Выходил с балкона он уже с твердой стратегией. Он не будет опровергать того, что они уже доказали. Но и ничего нового им не сообщит. Только не с повинной, не со страхом перед этими волками!

В отделении было тепло и мрачно. Обыск ничего не дал, по пути в ОВД все трое молчали. Слава списал это уныние ментов на отсутствие у них прямых доказательств. Скорее всего, привод сведется к подписанию бумажек. Вроде и порадоваться можно, но день уже был испорчен. Хотелось поскорее уйти отсюда, отоспаться и хорошенько напиться вечером с паяцами, поржать над ментовским проколом с книжками.

— Вадик, принеси там из сейфа конверт желтый. — Павел проводил напарника взглядом, бросил на стул куртку и внимательно посмотрел на Славу.

Вадик вышел, и Славе стало как-то некомфортно от этого пристального взгляда. Отшучиваться настроения не было, скорее, хотелось нагрубить. Он начал рассматривать уже давно изученные щели в полу, свои кеды, запачканные джинсы.

— На, держи. — Желтый объемный конверт глухо стукнулся о стол.

— Ну что ж, тогда приступим.

Последующие манипуляции не вызывали у Славы интереса, поскольку ни один, ни другой не обращали на него никакого внимания, и Слава решил, что конверт к нему отношения не имеет, а его поддержат здесь подольше просто для профилактики. К этому он был уже привычный и постепенно начал задремывать в мягком старом кресле.

Но когда его окликнули и подозвали к монитору, что-то неприятно кольнуло внутри.

— Ты с креслом двигайся, полюбуйся с комфортом.

Несколько секунд на экране рябили черно-серые полоски, ничего не происходило. Потом появилось какое-то размытое изображение. Постепенно картинка выровнялась и выдала обзор лестничной клетки и, по-видимому, входной двери. Вид сверху, как будто через лупу, немного искаженный. Несколько секунд картинка просто висела, наконец дверь открылась и кто-то вошел. Точнее, вбежал. Через секунду показалось застывшее от страха лицо. Вбежавший пытался захлопнуть дверь, что-то кричал. Внезапно дверь снова открылась. Толкаясь, ввалились три фигуры и начали хаотично двигаться перед лестницей. Один оторвался и стал медленно подниматься по ступенькам, потряхивая каким-то предметом в правой руке. Его походка отличалась от метаний того, первого. Он шел твердо, вытянув шею и широко расставив руки. Пленка периодически чуть-чуть зависала, и картинка шла как будто в замедленном темпе. Двое других так и замерли почти у самого входа. Звука не было, но Слава уже знал, что кричит этот здоровенный бритый бугай. Крупным планом, почти глядя на них с экрана, он занес свой нож и несколько раз с силой воткнул его в медленно сползающую по стене фигуру. Она сползла, как тряпичная кукла. Бугай пнул ногой лежащее тело и развернулся к другим двум прямо перед самым объективом. С экрана на сидящих в кабинете смотрел Слава.

* * *

Оглашается приговор... согласно Уголовному кодексу Российской Федерации... дело номер... два года колонии общего режима... условно.

Из зала заседания начали медленно выходить присутствовавшие на слушании. Слава шел, растягиваясь слушая причитания матери. За последние месяцы он слышал это сотни раз: как она ездила с сумками еды к раненому в больницу, как отчим переведил ему деньги сразу на родину, потому что Сулейман боялся, что не выживет, а раз деньги предлагают — надо все переслать семье. Она столько раз пыталась потащить с собой Славу в больницу, чтобы он извинился, но после его резких слов, что он не сожалеет ни о чем, мать решила не рисковать и уладить все самостоятельно.

— Ну что, доволен своей «Минутой славы»? — Отчим ухмыльнулся собственной находчивости, но, встретив каменный взгляд, быстро отвел глаза.

Виною выжившего

— Сильней закручивай!

— Я закручиваю.

— Ты не закручиваешь, я же вижу!

— Сказал же, закручиваю.

— Да ты мне всю жизнь говоришь! Хоть бы сделал что... Вздыхает он! Закручивай нормально, опять сорвёт, мне вытирать всё!

— Не кричи, я делаю.

— Не кричи ему! Да тебе хоть оборись — услышишь, что ли?! Сколько кричала, чтоб пить бросил — услышал?!

— Ну не могу я не пить, ты же знаешь, ну не кричи, утро же.

— Почему я могу, а ты не можешь?! Устроился! Утро у него: половина первого! Уже нажрался! Нормальные люди пашут вовсю!

Марина еще несколько минут попробовала не открывать глаза, но вопли матери окончательно прогнали сон.

Нормальные люди... Когда-то они еще могли бы претендовать на это звание. Когда-то давно — когда Марине было лет пять, и отец хоть и пил много, но только по праздникам. В разгар застолья он брал ее себе на руки и, обдавая неприятным запахом алкоголя и лука, начинал громко на весь стол рассказывать о том, какая его Мариничка самая толковая в группе, что будет, как мама её, — самая завидная невеста. Руки у отца становились холодными и липкими, сидеть было неудобно, а от его поцелуев на щеках оставались влажные следы. Но всё этоказалось совсем не важным. Она сидела с восторженной улыбкой самого любимого ребёнка на свете: папа ею гордится, говорит, что она будет похожа на её мамочку!

Очередные крики матери резко оборвали воспоминания о детском счастье. «Как же достали уже, надо дверь поменять. Хотя эта и через бронированную проорется. Да и денег на такую всё равно нет», — мелькнуло в голове.

Образ матери вторгся в сознание: руки в боки, ноги расставлены, как у мужика, голова приподнята, готовая обрушить череду возмущенных претензий на каждого, попавшего в поле зрения её бегающих глаз.

Видение окончательно заставило Марину открыть глаза и скинуть одеяло. От прикосновения к холодному полу стало зябко и неуютно. «Хорошеньнюю же перспективу ты мне предлагал, папочка», — размышляла она, рассматривая себя в зеркальную дверь шкафа, с облегчением не обнаруживая следов внешнего сходства с матерью. О вчерашних посиделках напоминали воспаленные глаза и пародия укладки на голове. Она карикатурно себе улыбнулась, отражение ответило совсем не дружелюбно.

Судя по продолжающимся воплям матери, кран так и не прикурили. Кутаясь в старый свитер, она выглянула в коридор.

— Когда в душ попасть можно будет?

— Здрасьте тебе! Неужель проснулась? А чёй-то так рано? — Мать, как паук, готова была переключиться на новую жертву, застрявшую в паутине её квартиры.

Марина вопрос матери проигнорировала, обратившись к открытой двери ванной:

— Пап, скоро закончишь?

— Да хрен его поймет, мать кран купила дурной, резьба слетает.

— Ах, это я ёщё и кран не тот купила?! — Паук заметил остатки теплившейся жизни в первой жертве и поспешил закончить свою миссию. — Да ты б хоть раз зад свой поднял да сам купил! За столько лет в доме никакого проку! Кран не тот! Руки у тебя от водки не те!

— Да я что, кран, говорю, не наш. Импортный, не подходит сюда.

— Чем это тебе ихние краны не угодили?! Ты на него заработай сначала, а потом обхавай!

Раздался треск, что-то звякнуло о ванну, послышался шум воды.

— Да чтоб тебя, твою же...

В заключение отцовского мата обреченно произвучало: «Не вышло, Надь, треснул».

— Не вышло?! Замуж я б за тебя не вышла, тогда б всё у меня в жизни вышло куда надо!

— Ну, я так понимаю, отечественное производство рулит! — бросила Марина.

— Ишь ты, оживилась как! Мы уж и не думали тебя до ужина увидеть! — Полная капитуляция отца добавила пауку новых сил, и он надвигался, потирая лапки.

— У меня выходной. Захочу — и до ужина спать буду. Я не трогаю никого. Если б не твои крики — спала бы дальше.

— Ну конечно, чем еще заниматься-то. Всю ночь шляется, потом спит сутками. Хоть бы раз за месяц в комнате разобралась, гадюшник развела, зайти страшно!

— А нечего заходить — это моя комната.

— Ещё ты мне указывать будешь, куда заходить в собственной квартире! Заработай для начала себе хоть на угол!

— Будешь трогать мою комнату — я её таджикам сдам, я тут прописана. Нечего было ту квартиру Мише отдавать, я бы с удовольствием облегчила вашу жизнь своим переездом.

При словах о Мише лицо матери исказилось болью и досадой, руки машинально опустились, и вся она как будто ссутулилась, совсем поникла. «Ну вот, опять сейчас начнется». Марине стало жалко мать.

— На кухне он. Иди, поговори. — Голос матери звучал глухо, в нём уже не слышалось злости, скорее отчаянья и безысходность.

— Мишка?

— Случилось, видимо, что-то. Но молчит, тебя, может, ждёт. Поговори с ним. — Взгляд у матери стал мягким, болезненным.

— Денег он небось ждёт, что еще у него случается? Вот и приехал. — Марина не выносила этот жерт-

венный образ мамы и с годами привыкла отсекать все сантименты жестким тоном и жестокой правдой.

Мать молча проводила её взглядом и машинально зашла в ванную.

— На, Коль, старый пока давай закрутим.

— Старый — это можно. А что он подтекает — да это я сейчас прокладку новую поставлю, лучше этого будет.

На кухне было холодно, пахло газом и кофе.

— Привет! — произнесла Марина как можно дружелюбней, стараясь вытянуть себя из утренней злости. — Как дела? — и, не дождавшись ответа, начала включать остальные конфорки, потирая над плитой озябшие пальцы.

— Нормально. Сама как? — Он по привычке не поднимал глаз от дымящейся кружки.

— Путём. Если б не эти — вообще неплохо.

— Да уж, мать жжёт. Я в детстве думал, у неё когда-нибудь голос кончится и она всю оставшуюся жизнь шепотом будет разговаривать.

Марина улыбнулась воспоминаниям, как они в детстве прятались от матери в ванной, и как однажды замок заело, и они не смогли открыть дверь. В итоге отцу пришлось замок выламывать, а мать орала потом еще неделю.

— У этой не кончится. Я в детстве думала, что, когда вырасту, никогда кричать на своих детей не буду. Но, чую, гены своё возьмут.

— Как работа? Всё пытаешься спасти мир? — ухмыльнулся Миша.

— А ты всё пытаешься спастись от мира? — попыталась уколоть она.

— Каждому своё, выживаем, как можем.

Марина насыпала кофе, залила кипятком и, развернувшись, села напротив брата.

— На какие деньги выживаешь-то? Воруешь? — почти с утверждением вывела она.

— Когда как. Где так, где приторговать перепадёт. Да всё как раньше. Тут вот дед подкинул немногого, типа к дню рождения.

— Ну да, он говорил мне. Я его предупредила, что это тебе на похороны. — Она шумно отхлебнула глоток и поморщилась.

— Все там будем.

— Ну, ты-то торопишься первым.

Она хотела продолжить стандартный обмен колкостями, но наконец взглянула на брата, и внутри защемило. За последний месяц, который они не виделись, он сильно похудел. На отливающем голубизной лице его глаза казались стеклянными лампочками. Редкая щетина прикрывала обветренную, местами в мелких язвочках, кожу. После второго срока он два месяца лечился в туберкулезном санатории, но начавшие было появляться признаки жизни на его лице исчезли уже через пару недель, и сейчас ничто не напоминало о выздоровлении.

— На чём сейчас?

— Месяц чистый! — Он широко улыбнулся, обнажив несколько новых дыр между зубами. После

первого срока за грабеж мать отдала всю выручку с последней продажи на его имплантаты. Наивная, она надеялась, что тюрьма его изменит, а подремонтированная улыбка простирует найти приличную работу.

— Врёшь.

Он не ответил, неловко поднёс ко рту кружку, и стало заметно, что рука его не слушается. Он был похож на инвалида.

— «Винт»?

— Ух ты, профессорша, сечёшь. Где поднатаскалась? Это даже не наркотик. Захочу — брошу.

— Ну да. Я это каждый день слышу. Лечиться не надумал?

— Да всё нормально, расслабься! — Нотации ему порядком надоели. — Проходили уже, Марин. Работай на работе.

— Извини. Это, скорей, вопрос риторический.

На кухне повисла пауза. Миша так и не отрывал взгляда от кружки, потирая её бледными пальцами — на костяшках выделялись многочисленные старые шрамы. В подростковом возрасте Мишу отдали на скалолазание, где он быстро освоился и заслуживал частые похвалы. Родители, поверив в способности сына, готовы были оплачивать и дорогостоящее снаряжение, и выезды на соревнования, несмотря на средний доход семьи.

Младшей по возрасту Марине становилось завидно. Ей тоже хотелось, чтобы на неё что-то тратили, радовались успехам, подбадривали. Но денег на занятия для дочери не оставалось, оттого и никаких «талантов» у неё выявлено не было. Марина надеялась, что в чем-то сможет отличиться, но в школе она была из середнячков, а бесплатные кружки предлагали только бисероплетение и шитье. Всей семьей они приходили на соревнования поболеть за Мишу, и Марина с тоской переводила взгляд с восхищенных родителей на карабкающегося все выше и выше брата. Ей хотелось тоже залезть высоко, ещё выше него, выше всех них, чтобы они задирали головы, чтобы увидеть ее. И тогда в ней родилась та самая детская, но совсем не девчачья мечта. Космос. Выше всех, даже выше этих альпинистов, поднимались только они в своих огромных кораблях. За их подъемом следят на мониторах сотни людей, а по телевизору и целый мир. От одной мечты о таком полете у нее замирало сердце.

Как идти к своей мечте, Марина не знала, и никто ей не мог подсказать: мечта была сокровенной тайной. Марина просто ждала. Ждала, что оно обязательно как-то получится, что мечта сбудется и поможет ей тоже заслужить восхищенные взгляды... Ей так хотелось стать лучше Миши хоть в чем-то.

Судьба помогла Марине стать лучше брата, но совсем другим способом. В то время, пока она ждала исполнения мечты, в школе заключили договор с социально-психологическим колледжем, куда Марина и отправилась после девятого класса. А из колледжа предлагалось без экзаменов попасть на вечернее отделение института.

Космос почему-то все не появлялся в ее жизни, как и сами космонавты. Зато начали появляться мотоциклисты. Не заменят, конечно, но тоже в шлемах и «летают». Жизнь вела Марину вперед. Мысль об институте немного пугала: в их семье ни у кого высшего образования не было, и, насколько все будет сложно или интересно, никто рассказать не мог. Но надежда на то, что ее тоже наконец похвалят, манила. Миша к тому времени застрял на уровне училища. Сначала бросил одно, потом исключили из другого, и он год отыхал, в третьем у него «не сложились отношения». Родители списывали неудачи сына на загруженность тренировками, но вскоре выяснилось, что тренировки Миша посещает так же, как и учебу. А потом... Потом всё закрутилось.

На последнем курсе колледжа Марина безумно уставала, постоянно подрабатывая вечерами. Она периодически замечала странные компании брата в квартире, но на ее жалобы мама не реагировала: «Мише необходимо отдохнуть!» Да вроде ребята и не пили у них дома, просто общались. Со временем Марине начало казаться, что она стала рассеянной: не могла найти вещи, куда-то засунула новый плеер, потеряла сережки, деньги все время улетучивались из кошелька. Она старалась дольше спать, завела записную книжку с напоминаниями, подсчитывала траты. Но когда к ней обратилась мама с вопросом о пропаже шкатулки со скромным содержимым из двух золотых цепочек и обручального кольца, уже не налезавшего на палец, они обе напряглись.

Сначала подумали на выпивающего отца. Но мать всегда оставляла деньги на алкоголь, и ему вроде хватало. Пил он запоими, раз в два-три месяца, а деньги и ценности пропадали регулярно. Мать валила все на дружков Миши, гневно обижаясь на попытки Марине «очернить» брата. А потом Марине уже и не пришло спорить и ругаться.

Миша резко похудел, у него побледнела кожа, настроение менялось от благодушного безразличия до ярости, он постоянно «терял» телефоны, просил денег, чтобы «выручить друга», не оставляя матери возможности для отказа своими криками и ударами кулаков о стену. В доме появлялись чужие люди, никогда не смотревшие в глаза, деньги и ценности приходилось прятать, на дверях поставили замки, которые постоянно «ломались». Мать отказывалась принимать реальность, даже обнаруживая в ведре шприцы. А потом им позвонили из больницы, куда Мишу забрали с передозировкой. Диагноз в карте не оставил вариантов.

Дальше были споры, крики, пропажи, платные клиники и побеги, мамины слезы и Мишины шантажи, мольбы, просьбы, обещания. Бесконечная венецица, затянувшаяся на несколько лет.

Марина разрывалась между институтом и работой в школе, стараясь полностью себя обеспечивать, понимая, куда уходят все средства родителей. Она старалась поддерживать мать, воздействовать на брата, выбрала в институте специализацию по работе с за-

висимыми, чтобы лучше понимать происходящее дома. Она очень старалась ничем не огорчать родителей, чтобы хоть с ней у них не было проблем, хотела дать им повод для радости. Но, поглощенные бедами сына, отец с матерью словно не замечали успехов дочери. И опять все их внимание было приковано к Мише, только теперь уже к его падению. Когда Марина прилетела домой с заветной «корочкой» диплома о высшем образовании, единственной в их семье, мама со слезами выдавила: «А Миша-то, ведь и Миша бы тоже мог! Как же это мы не уследили...»

Сейчас она смотрела на него, и ей первый раз за долгое время захотелось о нем поплакать. Было понятно, что брат не выдержит слез и уйдет, но они уже поглились. Она оплакивала их детскую дружбу, его заботу о ней и защиту в школе, его стремления и победы, свою детскую ревность и обиды. Она оплакивала все то, что уйдет вместе с ним уже совсем скоро. Она оплакивала свое будущее одиночество и это не покидающее чувство вины за свои успехи, свои планы и мечты, вины за свою жизнь, которая у нее будет, а у него нет.

Миша увидел слезы и без слов ушел в родительскую спальню. Она еще несколько минут беззвучно плакала. Сейчас она пойдет в свою комнату, наденет новые джинсы и свежевыстиранный белый свитер. Она уложит упрямые рыжие волосы, вставит в нос пирсинг с золотой ласточкой, капнет на запястья любимые духи. Она выйдет из дома, пойдет частника и поедет в турагентство доплатить за поездку на Мальту. Потом встретится со своим «космонавтом», будет кататься по летней Москве, проведет с ним ночь и, счастливая пробуждением с той дремотной утренней негой, поедет на работу, пытаться спасти кого-то, как не смогла спасти брата.

Он выкурил оставленные отцом сигареты, выпросил у матери еще немного денег и, сев в дребезжащий троллейбус, поплелся на окраину Москвы, в свою квартиру, коротать день в окружении таких же, как он, даже не загадывая, наступит ли завтра.

Мамы

— А имя твое, знаешь, почему такое?
 — Да знаю, дед!
 — Богдан — Богом данный.
 — Да я знаю, дед, сто раз говорил!
 — Бог — он в душе у каждого, вокруг нас, в каждом дне. Во всяком деле Он с тобой.

Беседы деда с каждым годом становились все скучнее, эпизоды и шутки повторялись, и взрослеющему Богдану компания старика уже начинала казаться тоскливой обязанностью.

— И потому в церковь ходить нужно, чтобы поближе к Богу-то быть, — продолжал дед, обращаясь к разложенной на столе гречневой крупе. Кожа у него на ладонях была мозолистой, и, казалось, пальцы уже не могли до конца разогнуться, не прорвав эту тугую подошву. Гречка оказалась никудышной, и дед

все время качал головой, выбирая дрожащими пальцами черные зерна.

— И люди там, в церкви-то, они душою светлей, помогут они, если что, добрей они, в сердце.

В ответ на слова о доброте людей память Богдана начала прокручивать эпизоды воспоминаний. Ему было лет шесть, когда они с матерью и крестной поехали в Углич к родным. Городок был теплым, приветливым. Они весь день гуляли по его паркам и зашли на вечернюю службу в церковь. Богдан уже знал, зачем нужны церкви, умел креститься и ставить свечки с очень серьезным лицом. Эта была не похожа на их московскую: низкие потолки, тусклые деревянные иконы в потрескавшихся рамках, наваленные на лавках пакеты и свертки, и всего человек пять прихожан, которые недобро уставились на них. Богдану церковь не понравилась, даже рассматривать было нечего, и его скользивший в поисках чего-то особенного взгляд остановился на маме.

Мама стояла чуть сбоку, и через узкие окошки на нее падали мелкие лучи света, начинавшие бегать по лицу и платью всякий раз, когда снаружи ветер шевелил деревья. Богдан смотрел на маму с восхищением и любовью. Она была такая красивая, улыбчивая, к ней так хотелось подбежать и обнять... Но он знал, что в церкви нужно стоять тихо, и продолжал вздыхать от скуки, переминаясь с ноги на ногу.

Потом к крестной подошла какая-то тётя и что-то спросила. Крестная едва мотнула головой и отошла. Тётя постояла и направилась к маме, и Богдан с любопытством начал осторожно пододвигаться к ним, чтобы лучше слышать.

— А вы свечки брать будете?

— Нет, спасибо. Мы еще завтра зайдем, поставим. Сегодня не будем.

— Не нужны вам свечки?! — тётя так посмотрела на маму, что Богдану показалось, будто мама сделала что-то плохое и на нее сейчас наругаются. Он поскорей поторопился взять ее за руку.

Через пару минут тётя вернулась и встала перед ними, наклонившись к Богдану.

— На вот, держи, раз они не могут тебе купить, — громко и злобно сказала она, протянув погнутую красную свечку. — Пойдем, поставишь Казанской.

Богдану идти не хотелось, но мама молчала, и он решил, что свечку поставить нужно, раз дают. Тем более, тётя так громко говорила, что он побоялся, что она все-таки наругается на маму, если он не поспорит. Тётя согнулась и обхватила Богдана за плечи. Её волоски неприятно щекотали щёки, изо рта противно пахло. Через пару шагов Богдана осторожно потянули назад. Обернувшись, он с облегчением увидел маму.

— Не надо, спасибо.

Но тётя ухватилась за Богдана еще сильнее и заговорила еще громче:

— Не трогай ребенка! Как себя ведешь в церкви! Позорище!

— Нет, это вы уберите руки от моего ребенка! —
Мама теперь говорила жестко и тоже громко.

— Да ты что творишь?!

— Уберите руки от моего ребенка! Он чужого братья не будет и никуда с вами не пойдет!

Растерянного Богдана тянули в разные стороны, свечка выпала, и освободившейся рукой он ухватился за маму, боясь, что одна она без его помощи с тёtkой не справится. Мама сгребла его в охапку, подняла на руки и, крепко прижав, развернулась к выходу. А тёtkа всё не успокаивалась, шла за ними и почти кричала:

— Свечку купить не могут! И не стыдно так в церкви-то себя вести! Пример какой ребенку! Приехали тут!

— Не надо трогать нашего ребенка, он приучен у чужих людей ничего не брать! — вступилась крестная.

— А ты кто такая? Как воспитали-то!

— Меня очень хорошо воспитали, и вам дай Бог так своих детей воспитать...

Дальше разговора Богдан уже не слышал, только испуганно смотрел через мамин плечо, как тёtkа ругалась на крестную. Мамино плечо пахло вкусно, и щека терлась о ее мягкую шею. «Хорошо как, что у меня и моя мама есть, и крестная мама. Вместе они точно сильнее тёtkи!» — размышлял он, укачиваемый теплыми любимыми руками...

Детские воспоминания опять подняли внутри какую-то тревогу. В последнее время он все чаще чувствовал ее. Иногда она даже перерастала в страх и спускалась к самому животу. Почему и откуда она появлялась, Богдан не мог понять, и от этого еще не приятней становилось. От родителей он постоянно слышал про переходный возраст.

— Дед, а я вот что-то маму не очень помню, когда совсем маленький был. Работала она, что ли, много?

Дед продолжал перебирать гречку, как будто и не слыша.

— Де-ед! Про маму спрашиваю, почему не помню? — повторил Богдан в самое ухо.

— Да слышу я. На-ка вот, собери, что осталось. — Он протянул банку для крупы, а остальное сгреб в кастрюлю. Богдан вяло ссыпал не отобранные зерна в банку, ожидая очередной истории деда. — Да вот, как тебе сказать. Вроде уже взрослый ты у нас, вымыхал какой, понимать должен.

— Чего понимать?

— Да про маму понимать. — Дрожащие руки несколько раз безуспешно чиркали спичками о коробок, но искра не появлялась.

— Дай я! — Спичка ловко скользнула по картону, озарилась пламенем, и конфорка засветилась сине-оранжевыми языками.

— Вот помощник, говорю, вырос ты уже, двенадцать-то лет!

— Тринадцать, деда. Двенадцать в том году было, когда велик подарили.

— Ну да, тем более, тринадцать уже, поймешь.

— Что пойму?

— Да про маму. Они, видно, закрутились совсем, сказать тебе забыли.

— Да кто они? И что сказать?!

Богдан уже начинал злиться на деда, постоянно забывавшего суть разговора. Последнее время даже свои древние истории он рассказывал запутанно, сбиваясь с одной на другую, и Богдан сам нередко подсказывал ему продолжение сюжета.

— Не твоя она.

— Кто? — Богдан так углубился в свои размышления о деде и его старости, что забыл, о чем шла речь.

— Мама твоя... Она не твоя, понимаешь?

— Ты чего, дед? Как это? — в горле снова появилось то странное ощущение. «Наверное, это от грусти, что дед совсем старый стал и глупеет. Такую ерунду иногда говорит!» — Богдан постарался отогнать неприятные мысли.

— Когда родился ты, другая у тебя мать была. Она тебя родила, но не сложилось у них потом с отцом. Вот другая мама тебя и растила.

Богдан замер и не мог понять, что он чувствует.

— Это как же, дед? — говорить получалось плохо, появилось странное ощущение, как будто сдавило горло, и слова прозвучали почти шепотом. — Как же так вышло?! Ты путаешь что-то!

— Ну, как вышло... Что поссорились-то? Ну, бывает так, ты уж должен понимать. Любили они друг друга. Потом Женя у них появился. А потом выпивать она начала. Негоже это, женщине-то пить, понимаешь? Мы тогда еще все в Кузовке жили, деревня значит. А там же не как тут, в Москве, там все всё видят, не утаишься. Соседи-то шепчутся, переговариваются, отцу потом все слухи доносят. А Женя не понимает, маленький еще. Как брошенный он был совсем.

— Кто он? — Слова деда звучали как из радиоприёмника. Как будто кто-то там, за ящиком, рассказывал очередную запутанную историю.

— Женя-то, маленький когда был.

— Да кто это?! — На какое-то мгновение Богдан подумал, что дед и правда рассказывает историю про кого-то чужого, про далекого мальчика и его пьющую маму.

— А, ну да, ты же его не запомнил, наверное. Брат твой — Женя. Первенец у них был. Добрый такой малыш, а глаза все время грустные, — с такой-то матерью.

— Брат? А как же Лёша?

— Лёша, он не твоего отца сын, это сын мамы, которая вырастила тебя. Когда она с отцом твоим сошлась, лет девять ему было, на год старше Жени.

— Так Лёша не брат мне?!

— Ну не родной, а так брат — сводный. Вместе же росли, у одних родителей. А Женя родной. Когда Ксения, это мать-то твоя, которая родила тебя, вот когда она совсем спиваться начала, отец твой её к батюшке повез, к святым местам. Это он ее так выле-

чить всё хотел. Да ты не хмурься, большой уже, понимать должен. Вот вернулись они оттуда, а она, значит, забеременела. Это тобой, значит. И как она тут преобразилась вся! Помогли, видать, в церкви-то. Пить бросила, приветливая такая стала, ухоженная, с Женькой целыми днями возилась, в школу его готовила. И он-то как радовался, что мамка его так изменилась, сиял весь, когда с ней по улице шёл.

— А что с ним стало?

— С Женей то? Ничего не стало, тьфу-тьфу, жив-здоров, слава Богу!

— А где же он?!

— Так, где был, там и есть. Он ведь с ней остался, с Ксенией.

— Как остался?! А как же я?

Внутри как будто всё тонуло, ускользало. С каждым новым словом деда словно открывался другой мир или, наоборот, рушился его мир, такой любимый, понятный, привычный. Перед глазами возникла картинка женщины с ребёнком, которые как будто на другом берегу машут ему рукой, но к себе не зовут. А он проплывает мимо. Им так хорошо вдвоём, они там вместе... И ему вдруг так туда захотелось...

— А почему я не с ними?!

— Ну, так ты и досказать не даешь. Не с ними... С папой ты остался, а он с ней. Ты когда родился — праздник какой для всех был! Здоровый, крепкий — она ведь всю беременность не пила, не курила, как чудо какое. Вот тебя так и решили назвать, мол, Богом ты послан им был, понимаешь? Богом дан. А через год снова пить начала, да только хуже прежнего. Вас с Женькой бросит и уйдёт. А он с тобой на руках всё ко мне прибегал. Маша моя слегла тогда, бабушка-то ваша, я и не выходил почти из дома, за ней смотрел. Вот притащил тебя Женя, а сам плачет, за мать переживает. Я накормлю вас, тебя уложу, а его в магазин пошлю или на почту там, принести что. Помощник он был мне в то время. Вот за хлебом, помнится, пошлю, а он часа на два пропадёт. Прибегает, весь запыхавшийся, сандалии пыльные. И я, значит, соображаю, что это он мать опять бегал-искол по всей деревне. А мне говорить не хочет, стыдно ему за мать. Так вот почти год и жили. Пока она на три дня не пропала. Ее потом участковый привез на машине своей, чтоб народ-то не видел позора. Она грязная вся, без обуви, в чужих лохмотьях, пьяная. Ну, тогда отец твой не выдержал. Пошел на следующий день на развод подавать. А самому тяжело, сколько лет вместе, всё жалел ее...

Дед застыл, глядя куда-то поверх Богдана... А у того в голове как будто появилась недостающая деталь мозаики. Ему казалось, что он начал вспоминать те эпизоды, о которых говорил дед, — фрагментами, вспышками... Синие с красным сандалии с оторванными ремешками, сбитые коленки, светлые кудрявые волосы. Но все это как будто со стороны, как не его. «Наверное, это был Женя! Наверное, я его помню!»

— А сандалии у него, они какие были?

В глазах деда застыли слёзы, а голова монотонно покачивалась.

— Чего говоришь-то? — Он достал наглаженный по старой привычке платок и приложил его к глазам. — Заболеваю я, похоже. Вот... заслезились совсем.

— Сандалии у Жени синие с красным были? Еще с ремешками оторванными!

— Сандалии? — Дед никак не мог переключиться со своих мыслей обратно на разговор. — У Жени-то? Да откуда ж я помню, какие они были...

— Жалко... — Богдану показалось, что очень важно узнать про сандалии, что от этого так много зависит.

— Хотя, наверное, порванные были. Ксения-то совсем уже за вами не смотрела. Так и ходил он, в чем придется, пока отец не заметит. Нелегко тогда всем было.

На кухне снова повисла пустая тишина. Вода закипала, но мальчик и дед как будто и не слышали позвякивания алюминиевой крышки.

— Маша моя совсем при смерти была. А отец твой мне так и говорит: «Мне, пап, от стыда не скрыться в деревне. Только мама и держит, не могу вас тут одних бросить». — Дед помолчал несколько минут. — А потом умерла бабушка ваша. Как сорок дней справили, так он переезжать надумал. А Ксения помаленьку соображать начала, что детей он забрать у ней хочет, вас с Женькой. И давай тогда она Женяку жалобить. Все плакалась ему, как она одна пропадет, как не управится с горем. А он не знай как все утешал ее. Да возьми и скажи ей: «Я тебя, мамочка, ни за что не брошу! Я тебе обещаю!» — это он мне в тот же вечер рассказал, что матери пообещал. А сам плачет: и мать ему жалко, и с отцом быть хочет.

— Значит, он все-таки маму выбрал? А я как же? А меня — меня не спросили? — Богдан не понимал, что с ним происходит. Ему хотелось то расплакаться и спрятаться в угол, то закричать громко-громко, разломать все, а то убежать далеко, чтобы никто не нашел.

— Да тебе два года было, кроха совсем! Как отец все устроил, так решил переезжать с вами. А Женя — ни в какую: плакал, кричал, из дома до самой ночи уходил. Ну и не выдержал отец-то. Решил время дать ему: пусты, мол, успокоится. Думал, будет на-вешать его, так тот сам и попросится. А тебя он Ксении не оставил. Боялся, не уследит. Вот и решили мы с ним: вдвоем уж как-нибудь управимся. Так и переехали в Москву. Первое время к нам Настя часто приезжала, крестная твоя. Она ж папе твоему сестра двоюродная. Переживала за нас: как мы, два мужика, с ребенком управимся. Приедет, бывало, на выходных, и весь день от тебя не отходит. Игрушек на-везет, в парк сводит — баловала, одним словом. И все папку твоего пилила, что, мол, без матери мальчишке нельзя расти.

— А мама, мама приезжала к нам?

— Какой там! Он ни адреса ей не дал, ни телефона. Боялся очень. Ты первые дни все плакал, искал

ее. Вроде ж ведь, когда жил с ней, она и не видела тебя почти: пила да гуляла. А ты всё же тосковал по родной душе. Вот отец и боялся, что увидишь мать — совсем тяжело станет. Так тебя больше к ней и не возил.

— Никогда?!

— Выходит, никогда. Да и сам он со временем всё реже в деревню выбирался. Сначала Женьку хотел забрать, переживал за него. Но тот никак, уперся, маму решил оберегать. Ну и успокоились на том: Женя с ней, а ты с отцом. Он его раз в месяц навещал, игрушки возил, одежду. Постарше стал — и денег подкинет, не бросал, в общем. Он уж теперь и в армии отслужил. Отец мне его фотографии показывал, гордится.

— Так они и сейчас общаются?

— Конечно, что ж им не общаться — сын все-таки.

Дед не стал расписывать внуку, как его отец искал себе новую жену, как мучился, приглашая в дом то одну, то другую. Самому деду ни одна не нравилась: все они, когда Богдана видели, как будто разочаровывались... Не хотелось им чужого ребенка. Да и понятно оно — зачем им в придачу к мужику неродной малыш. А потом появилась Вера. Деду она сразу понравилась: взрослея всех предыдущих, серьезная, рассудительная. И, главное, глаза у нее добрые, задумчивые. Как в дом пришла — так будто всегда с ними и жила. И с Богданом как ловко управлялась. И Настя она понравилась — подругами стали. Настя деда подбивала повлиять на сына: мол, чем не пара, женился бы. А сын всё как-то мялся, отмалчивался. А раз приехал, видимо, со встречи с ней, весь вззволнованный:

— Пап, разговор у меня к тебе. Совета твоего спросить. Хочу на Вере жениться.

— Ну и слава Богу! Чего тянуть-то! Хорошая она, и Богдану с ней хорошо.

— Подожди, тут проблема есть.

— Да ну навыдумываешь еще, чего там у вас?

— Ребенок у нее. Уже большой, девять лет.

— А где ж это он?

— С ней живет, в ее квартире. Вот сегодня знакомиться ездил, Алексеем звать, славный вроде паренек.

— А чего ж тогда проблема?

— Ты думаешь, не страшно? — Глаза сына засияли с облегчением. — Я за Богдана переживаю, как ему-то будет?

— Да ну брось ты, малой он еще. Привыкнет, как к родному, и не вспомнит потом.

В круговороти переездов Богдан и правда поприyик. Одно время подолгу молчал, всё прислушивался к чему-то. Но и это постепенно прошло. Первые месяцы дед часто забирал Богдана на выходные к себе, старался дать передохнуть сыну с невесткой. Но постепенно Вера начала все больше привязываться к мальчику и настойчиво просила детей не разлучать: вместе с ними обоими и в парк, и в лес, и на море. И жизнь потекла спокойно. Впервые после смерти

Маши деду показалось, что все налаживается. Бывали и ссоры. Да у кого же их нет. Но так они с годами привыкли друг к другу, что все уже само текло, как будто так и должно быть.

Дед посмотрел на совсем потерявшегося внука. И жалко его стало, и вроде большой уже. Забился в угол, как воробей взъерошенный.

— Как же так, деда?

— Ну, вот так в жизни вышло. Всякое бывает, понимаешь. Ты не тоскуй, уж как получилось.

— Ведь они должны были мне рассказать! Обязаны были! Как же это они?!

— Да не хотели, чтоб переживал ты! Как лучше ведь хотели.

— Кому лучше? Они ведь знали! Это ведь... Это ведь получается, все знали? Все вы знали? — Богдана пронизывала боль от такого предательства близких.

— Да мы ж за тебя боялись. Что ж не поймешь никак, чудак-человек!

— И крестная, значит, Настя, тоже знала? — Он уже не слышал деда, а только перебирал в памяти всех родных и друзей семьи, пытаясь разобраться, кто из них тоже знал, но молчал.

В дверь позвонили. Два коротких, один длинный. «Это она! — мелькнуло в голове у Богдана. — Она всегда так звонит, чтоб дед чужим не открывал!»

— Откроешь? — Дед несколько мгновений вопросительно смотрел на погруженного в свои мысли внука и, кряхтя, пошел открывать сам.

«Это всё неправда!» — вдруг озарило Богдана. Сейчас она войдет, *его мама*, и все это окажется глупой историей старого деда. Она посмотрит на него, и все сразу станет ясно.

— Привет, Вера!

— Вы чего так долго не открываете?! Я уже подумала: случилось что! А ты чего такой хмурый? Подростковый бунт на корабле? — Она ласково улыбнулась Богдану.

— Ты... ты почему мне не сказала? — Он хотел, чтобы вопрос звучал твердо, по-взрослому, чтобы она не смогла соврать. Но голос дрожал и звучал пискляво, как у девчонки.

— Что не сказала, родной мой? — Она нежно смотрела на него, одной рукой пытаясь расстегнуть босоножку. — Ноги совсем отекли: осень на дворе, а жара какая!

— Никакой я тебе не родной! — сдавленно проприпел он.

Все внутри напряглось, как пружина. «Скажи, что это все не так! Ну же! Скорей, скажи, что дед совсем глупый стал! Ну, чего же ты!» — Мысли пронеслись в его голове, пока она поднимала взгляд от непослушного ремешка.

— Что ты имеешь... — Ее глаза встретились с глазами Богдана, и взгляд начал медленно напрягаться, как будто пытаясь что-то рассмотреть. Она резко повернулась к деду, и лицо ее застыло с выражением страха. Дед растерянно отвел глаза, потирая затылок. Мамин взгляд снова вернулся к Богдану и за-

мер... Все его надежды разбились. Всё было правдой, дед не врал. Он всё прочел на ее лице.

Вера осторожно стянула босоножки, захлопнула входную дверь и прошла на кухню, сев напротив Богдана. Дед выключил свет в коридоре и медленно поплелся за ней.

— Ты теперь всё знаешь, да?

Богдан смотрел на её лицо, не чувствуя внутри ни тепла, ни нежности. Волосы у нее прилипли ко лбу и щекам, под носом выступили капельки пота, а кожа неравномерно покраснела. Она тяжело дышала, и от нее пахло пыльной улицей. Ее веснушчатые руки нервно потирали край стола, и он задержал взгляд на мозолистых от стирки красных пальцах с заусеницами у основания коротко остриженных ногтей.

— Нам надо всем поговорить.

Они снова встретились взглядами, и она поспешила отвернуться в сторону убегающей на плите каши. Он увидел много мелких морщин вокруг ее едва подкрашенных глаз. Они разбегались лучиками от носа

к вискам и вниз к щекам. Они бежали по всему лицу, исчерчивая едва заметной паутинкой ее лоб, щеки, подбородок. Он смотрел на ее бледные тонкие губы, которые что-то произносили, и морщинки вокруг них. Он заново изучал это чужое лицо.

...Возвратится ли он в этот город? в свою квартиру? в строительный институт?..

Утешают его только огромные лужи, говорящие о том, что *тот* ливень прошёл и здесь.

Уже поднявшись с велосипедом на площадку своего этажа, он долго смотрит застывшим взглядом в подъездное окно пролётом ниже. За окном не видно ничего.

Он думает о родителях. Ему очень их жалко. Сейчас они будут осторожно присматриваться к нему в надежде обнаружить желаемое — что проведённый на свежем воздухе день укрепил его в намерении создать нормальную человеческую жизнь. Он же чувствует, что готов лишь к одному: к бестолковой и великой судьбе поэта.

Вячеслав Иванов

Когда Серега умер от запоя,
За ним прислали ржавую «газель».
Тем утром на дорогах Уренгоя
Заснеженный свирепствовал апрель.

Машина у подъезда сев на брюхо,
Не в силах скорбный свой продолжить путь,
Беспомощно завыла, как старуха,
Пришедшая соседа помянуть.

И кто-то говорил: «Серега шутит!
С ним вечно приключается курьез!»
И было что-то страшное до жути
В бессмысленном вращении колес...

Люди спросят у порога:
— Что за пазухой твоей?
— Прячу внутреннего Бога
От соборов и церквей.

Он не любит позолоту
На крестах и образах
И в душе моей свободу
Поселяет, а не страх.

— Где ж ты взял Его?
— Не важно,
Если вера глубока.
Я нашел Его однажды
На снегу у кабака.

Был февраль, и Он дрожал весь,
В ледяную глядя тьму.
И казалось мне, что жалость
Проявляю я к Нему,

Но, когда Его я поднял,
Озарилось все вокруг!
За мгновение я понял:
Он мне самый близкий друг!

— Веришь в Бога?
— Верю слепо!
И с того не важно дня:
Я несу Его по свету
Или Он ведет меня.

Мы с ней не говорили о вещах,
Что куплены не нами или нами
В Италии, Китае и Вьетнаме,
А может, на каких-то островах,

О ценах на билеты и на газ,
Об уровне зарплат в районной школе,
О клубах, сигаретах, алкоголе —
Все это миновало, к счастью, нас.

Мы с нею говорили о душе,
О ценностях Серебряного века,
О Бродском и о смысле человека,
О пагубности штампов и клише,

О музыке Миньони и Кюи,
О странностях в картинах Сальвадора
И живописи классиков, в которой
Так много нерастраченной любви,

О сущности религии, о снах,
О хрупкости и целостности мира.
Она не говорила о вещах,
Но выскочила замуж за банкира.

* * *

В мой дом постучали. Сказал я: «Войдите». Стариk на пороге — в лохмотья одетый. «Ты кто?» — говорю. «Я твой Ангел-хранитель. Я слыхивал много про все твои беды».

«Проваливай к черту! Плевать, что ты босый! Я не подаю ни на хлеб, ни на воду!» А он мне в ответ: «Да вернется, не бойся, Сами прибежит, не пройдет и полгода».

Я замер, кольнуло у левого бока:
«Откуда ты знаешь об этом, убогий?» А он подмигнул мне: «Убогий — от Бога! А Богу известны все наши дороги.

Ты матери чаще звонил бы, а то ведь
Она до весны не дотянет двух суток.
И надо бы как-то отца подготовить
К тому, чтобы он не лишился рассудка».

Впервые в коленях почувствовал дрожь я,
Схватил старика за грудки, обезумев.
«Нельзя изменить, есть на все воля Божья», —
Хрипел он чуть слышно сквозь черные зубы.

Я сел у камина, налил ему выпить
И хлеб покромсал и кусок буженины.
Он ел не спеша, а потом руки вытер
О черные с блеском от грязи штанины.

И вышел за дверь, но я вслед ему крикнул:
«Я думал, что ангелов делают белых!
И если ты ангел, то где твои крылья?»
Стариk усмехнулся: «Я отдал тебе их».

* * *

...А ночами к Ивановым от Иванниковых
К таракану приходила тараканиха.

Пахла медом и корицей, расфуфырена.
То халвы кусок притащит, то зефирины.

Вот сидят, жуют часами втихомолочку.
Что останется — запасливо на полочку.

Предлагал у Ивановых он оставаться ей, —
Уходила — провожал до вентиляции.

Долго думал, шевеля усами рыжими,
А потом в кладовке прятался за лыжами

Возле банок с огурцами и капустою,
Всем хитином одиночество предчувствуя.

* * *

Что же с ними делать? Сам реши,
Юный, но отъявленный разбойник.
В этих милых куклах нет души.
Хоть спали в печи, а им не больно.

А когда ты вырастешь большой,
Тихо я шепну тебе на ушко:
«Кукла с человеческой душой —
Это очень страшная игрушка».

* * *

Этой женщине я обязан
Всем своим изможденным прошлым,
Ишемией, мигренью, язвой,
Но считаю ее хорошей.

Я любил ее до потери
Ощущения твердой почвы.
Этой женщине я не верил,
Но хотелось поверить очень.

Я бросал ее, словно камень
В голубую прозрачность моря,
И своими спасал руками
Ту, что мне приносила горе.

Этой женщине я поведал
Тайны самой святой молитвы.
Одержать над собой победу
Ей позволил без всякой битвы.

Я простил ей грехов немало,
Мнил себя то Христом, то Буддой,
Потому что она сказала,
Что светлее меня — не будет.

* * *

Моя бабушка верит в Бога.
Перекрестит меня всегда,
Если мне далеко в дорогу,
Чтоб со мной не стряслась беда.

У нее на столе икона,
На иконе той — Божья Мать.

Свет струится в проем оконный
На застеленную кровать,

И стоит за буфетной дверцей
Книга с правдой такой простой.
Моя бабушка верит сердцу,
Хоть и пьет от него настой.

Говорит: «Потерпи немножко».
И сует мне Завет — прочти!
Моя бабушка верит в Бога,
И я тоже уже почти.

* * *

Лес нагой, как девки в бане.
Пахнет вяленым листом.
Дядя Шура на баяне
Нам играет «Вальс-бостон».

Тетя Валя у барака
Сушит серое бельё,
А соседская собака
Клянчит яблоко моё.

Мяч гоняют Мишка с Лешкой
В подворотне по грязи.
В детство хочется немножко,
Множко — боже упаси!

* * *

— Вам платят за стихи?
— Не платят.
— Зачем же пишете, коль нет за них грошей?
— Вот вы, зачем купили это платье?
— Оно к лицу.
— А мне стихи к душе.

Павел Великжанин

О ней, страшнейшей из стихий

* * *

О ней, страшнейшей из стихий,
и плачи, и фанфары.
Слагают песни и стихи и пишут мемуары.
Но что такое есть война — ответ не скоро сыщется,
И произносится она совсем не так, как пишется.

* * *

Был черствый хлеб вкуснее сдоб,
был ратный труд, простой и страшный:
На фронте пашней пах окоп,
в тылу окопом пахла пашня.
Впрягались бабы в тяжкий плуг,
и почва впитывала стоны.
Мукою, смолотой из мук,
на фронт грузились эшелоны.

А там своя была страда, и приходили похоронки
В артели вдовьего труда,
в деревни на глухой сторонке.
Кружили, словно воронье,
над опустевшими домами.
Кололо жесткое жнивье
босое сердце старой маме...

Помнишь ад летней бани? «Мессер» бреет овраг,
А у нас до Кубани — только в небо кулак.

И от пыли седые, не могли мы вдохнуть,
Зарываясь России в материнскую грудь...
Да ведь кто, кроме нас-то? Тот январь сохранил:
Сталинградского наста мы ломали броню.

И на Запад, сметая паутину траншей,
Шла фронтов цепь литая, только раны зашей!
Шрамы Родины долго не сходили с лица:
Обожженная Волга, беспризорный пацан.

Потому так сурово в предрассветную даль
Утром двадцать второго смотрит мой календарь.

ДНЕВНИК ТАНИ САВИЧЕВОЙ

Сколько их, кто не дожил, не дошел?
Нет даже лиц.
Синим химическим карандашом девять страниц.
Голод блокады писал без затей буквы свои.
Девять страниц — только даты
смертей целой семьи.

Это потом в полевых вещмешках их принесут
На просоленных солдатских плечах
в Нюрнбергский суд.
Это потом доверять дневникам станут мечты
Девочки в городе, где по утрам сводят мосты.

УТРОМ ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО

Мы три года да с лишком шли от бед до побед:
В сорок первом мальчишка, а сейчас — уже дед.

...«Таня одна...» И завыли гудки траурный марш.
Ангел тихонько из детской руки взял карандаш...

ИСТРЕБИТЕЛИ ТАНКОВ

Их щенками кормили под танковым днищем,
Приучая в бою беспородцев красивых
Лезть под танки немецкие в поисках пищи,
Не пугаясь ни лязга, ни пуль, ни разрывов.

А на спину тротил со взрывателем чутким,
Чтоб уткнулся в стальное подбрюшье машины...
И вожатый потухшую грыз самокрутку,
И махра ему скулы сводила, как хина.

Никого не жалела война для победы,
И, петляя среди сталинградских развалин,
Вновь и вновь вылетали живые торпеды,
Разбивая валы бронированной стали...

БЕРЛИН

Берлин залит дождем огня и стали,
но детский плач был громче, чем война:
Потерянно стоит среди развалин
там девочка немецкая одна.
А может быть, отец ее в гестапо
служил, а мать эсэсовкой была...
Но вот она лепечет «мама, папа»
из пулями оббитого угла.

И может, брат ее, слепой от злости,
все ближе целил пулеметный ствол...
Но тут солдат, чьи дети на погoste,
поднялся, крикнув только: «Я пошел!»
И ринулся к немецкому ребенку
сквозь ливень из немецкого свинца,
В шинель дитя закутал, как в пеленку,
собой прикрыл, не разглядев лица.

И вытащил почти что с того света
солдат в зеленой каске со звездой...
И девочка спасенною планетой
к плечу его приникла головой.

БЕЗГЛАЗЫЕ СУДЬИ

Замолкли бездонные глотки орудий,
но мины нам в спины проклятъя шептали.
У этих безглазых, безжалостных судей
один приговор — из тротила и стали.
Для всех: для сирот по дороге из класса,
для вдов, накопавших картох в огороде...
Лежат в многолетних засадах фугасы,
взрыватели чуткие держат на взводе.
Мгновенно растут смертоносные всходы
семян, что закопаны в землю когда-то.
Над ними идут вроде мирные годы...
Но нет у войны окончания даты.

В МУЗЕЕ

Не ржавеет стволов вороненая сталь,
но лежит без движенья и звука;
Полевые бинокли забыли про даль
и на стены глядят близоруко;
Да и рации вряд ли поймают волну,
чтоб приказ передать об атаке...
Все равно как живую я вижу войну,
по музею идя в полумраке.
С пожелтевшего фото тех огненных лет
смотрит парень со шрамом над бровью,
И лежит под стеклом комсомольский билет,
сверху печатей заверенный кровью.

ТЕНЬ ЖУРАВЛИНЫХ КРЫЛЬЕВ

Словно медали деда, солнечный диск надраен:
Небо на День Победы — как небеса над паем.
Реки людские в мае вверх устремляют русло:
Лестницей на Мамаев, тропами Приэльбрусья.

Там шли в атаку роты, вязли в тягучих глинах...
Павшими за высоты кладбищ полны низины...
Тем, кто навек уснули, белый журавль — попутчик.
Ветры свистят как пули, гонят седые тучи.

Тучи плывут, не зная, что под небесной крышей
С каждым Девятым мая линия фронта — выше.
Гром отгрохочет медный, ливень все слезы выльет.
Горечь на Дне Победы —

тень журавлиных крыльев.

Последний ветеран

Как вынуть нам осколки те и пули,
что в плоти спят живой с сороковых?
Застыли годы в скорбном карауле:
он демобилизован из живых.
Последний ветеран, кому свое ты
дежурство боевое передашь?
Шагают вверх неумолимо роты,
на белый цвет меняя камуфляж.

ГРАНИТНЫЙ ГЕНЕРАЛ

Командующему 62-й армией В. И. Чуйкову,
памятник которому установлен
на Центральной Набережной Волгограда

Генерал с лицом темнее гранита —
то ль от дыма, то ль от вечной печали —
Замер, молча, с головой непокрытой,
устремляя взгляд в заволжские дали.
Помнит всех своих солдат поименно,
но бессмертья не даруют былины:

Уходили в небеса батальоны
на пути от Сталинграда к Берлину.

Ни гранита нам, ни бронзы не хватит,
чтобы каждому воздать по заслугам...
Но взгляни: в могилах спящие рати
прорастают зеленеющим лугом!
Жизнь всегда, в итоге, смерти сильнее —
тихий сквер облюбовали мамаши:
Каждый вечер здесь, пока не стемнеет,
дети бегают, ручонками машут.

В центре гомона, возни и горячки
генерал следит, как дедушка строгий,

Чтоб стихали мимолетные драки,
чтоб смотрели непоседы под ноги.
Улыбается гранитно складкой,
и во взгляде не сквозит холод стали:
«Из таких же, как вот эти ребятки,
и гвардейцы все мои вырастили...»

Ведь солдаты не за то умирают,
что им памятников мы понастроим...
Рядом с памятником дети играют —
это лучшая награда героям.

Роман Рубанов

Маме и папе с любовью

ПГТ*

1

Остывает ужин на плите,
догорает во дворе листва.
Золотая осень в ПГТ.
Осень — золотая голова.
Улицы пустые. Тишина.
Сонно. Странно. Грустно и смешно.
И висит над ПГТ луна.
Проплывает облака бревно,
пролетает птица, скакет зверь
по лесу, в воде живёт карась.
Вылови, пожарь, свари, измерь...
Золотая осень. Понеслась.
Три мешка картошки накопай,
огород конём перепаши.
И обратно в город поезжай...
В город без тепла и без души.

2

Какой райцентр — аббревиатура.
Какой посёлок, что ты — ПГТ.
Гостиница, больница, Дом культуры,
военкомат, ментовка и т. п.
На Флора с Лавром дискотека в центре,
престольный праздник всё же как-никак.
Детишки утром спят, старушки в церкви,
студенты оккупируют кабак.
Очарованье пьяной дискотеки,
работников культуры, что поют
про «вены-руки-вены-руки-реки»,
ларьков, в которых водку продают.
Продлить рассвет. И, рваную рубашку

заправив, вспомнить, крепко зубы сжав,
летящий пепел, крайнюю затяжку
пред тем, как тронется маршрутка, завизжав.

Плачет Таня. Мячик утонул.
Молодость прошла, и муж в запое...
Танечка, не плачь, возьми отгул,
да оставь ты этот мяч в покое,

отдохни, ведь Агния Барто
знать не знала о такой концовке:
мячик, лужи, мальчик под зонтом
на пустой трамвайной остановке,

пьяный муж и дочка на сносях,
дел гора и низкая зарплата...
Наша жизнь — несовершенна вся,
что ж теперь рыдать? А ведь когда-то,

в детстве, было всё наоборот:
рубль за счастье, эскимо и мячик,
карусель, последний оборот
и напротив — самый лучший мальчик.

Вагон качает, с ним сопряжена
дорога бесконечной лентой ночи.
И в подстаканнике стакан грохочет,
а за окном такая глубина

и огоньки проносятся туда, —
туда, откуда еду я обратно.
Пейзаж ускорился и превратился в пятна,
и с тёмным небом спелись провода.

* ПГТ — посёлок городского типа.

А через семь каких-нибудь часов
мой город, захолустный, забубённый,
старушкой дряхлой подбежит к вагону:
— Водичка, пиво, чебуреки, сок...

И чудо-птица — курский соловей,
которого пиарят старожилы,
из нас с тобою вытянет все жилы
бесхитростною песнею своей.

* * *

Белгород — Москва. «Райцентр» Дьячкова.
За окном деревья семенят.
Проводница в блузке подростковой
робко спрашивает у меня:

— Кофе? Чай?
Как дурачок киваю.
Тарахтит стаканчик на столе,
в такт стихам как будто подвывая, —
кофе, чай, «Последний вечер ле...»

* * *

То зайкой скачешь, то поёшь щеглом,
то чеховским медведем ночью бредишь...
И где-то на гастролях под Орлом
напьёшься, плюнешь и домой уедешь

Как есть, в чужих усах и бороде,
в костюмчике старинного покроя...
— А где артист такой-то? — Да нигде.
Ушел в запой. — Бывает и такое.

Бывает. Правда. Всё Шекспир соврал:
мир не театр, а большая свалка.
Ну кто из нас гастролей не срывалят
вот так, сплеча, чтоб никого не жалко?

...На третий день заявишься домой
и в зеркало посмотришь — битый Гамлет.
И Станиславский, в раме за спиной,
чего-то там несвязное промямлит.

* * *

Наш дворник третьи сутки как пропал,
Под окнами не кружится как зуммер.
Соседка говорит: «Наверно, умер».
Двор засыпает белая крупа.

А я не верю. Славный старичок
с прищуром хитрым и бородкой редкой —
Да как же так? Но все твердят соседка:
Наверно, умер. Ну а как еще?

Да как еще — у дочери гостит,
уехал к сыну в Вологду на Святки.

Но он вернется скоро, все в порядке.
На «соловье» вечернем прилетит.

И, из вагона выходя, вздохнет
и улыбнется городу и миру.
И в ночь шагнёт. А мелкий снег пунктиром
Его следы, как школьник, подчеркнет.

* * *

Субботний день. У мусорного бака,
где вонь ведром духов не перебить,
спит бомж с лицом апостола Иакова.
Пройду. Проснется. Спросит закурить.

И, выбросив пакет, с боков дырявый,
в зеленый бак, прогнивший весь до дыр,
отдам ему почти полпачки «Явы»,
услышу вслед: «Спасибо, командир!»

Дым полетит сиреневым туманом,
как в песне про полночную звезду...
Соседка с престарелым доберманом
бомжа за километр обойдут.

Пацан с четвертого покроет матом,
а кто-то, может, вынесет хлебца...
В нетрезвом лице, сморщенном, косматом,
лицом к лицу не увидать лица...

Под вечер все зеваки разбредутся,
он ящики построит в длинный ряд,
глаза смежит — морщины разойдутся,
и в полусне к нему придет закат,

придет, морозным полыхнет пожарищем,
как на рублевской фреске «Страшный суд»...
...Придут апостолы — его товарищи —
и прямо к Богу душу вознесут.

* * *

Джаз на коротких радиоволнах...
В кафе на Сымской под названием «Южное»
сидим. Сосед из города Талнах
в стакан подруге подливает «Южное»

и что-то шепчет ей про холода,
про то, что с нею он начнёт всё заново.
— Ешь бутерброд. — Да я не голодна.
И всё напоминает фильм Рязанова.

Официант чихнет. — «Э-э-э, будь здоров», —
сосед обронит. Но за кадром, хитро,
всё сочиняет музыку Петров,
чтоб на неё легли красиво титры,

чтоб мы втроём, допив своё вино,
вошли в трамвай и сели у окошка,

и чтобы жизнь, как будто бы в кино,
туда-сюда мелькала понарошку.

* * *

Трамвай по Верхней Луговой.
Дождь моросит колючий, дробный.
Пусть англичанин Ивлин Во
составит справочник подробный,

в котором скопище пройдох
в трамвае едут. Грязь и слякоть.
Чтоб путешествующий мог
прочесть, увидеть и заплакать.

Над частным сектором горит
пригоршня праха. Ветер с ив ли,
с берёз срывает колорит
убранства. И про это, Ивлин,

пиши, про жизнь и про любовь
пиши, как на боях без правил,
чтоб в Википедии любой
чудак ни слова не исправил.

* * *

В храме Егория, после крестин,
тихой молитвой согрет,
разоблачившись, отец Валентин
долго стоит в алтаре.

Все разошлись. Только сторож, да он,
да по стенам образа.
В северо-западный микрорайон
ехать всего полчаса.

Вот он и едет. И смотрит в окно.
Жизнь как песок на весах.
А полчаса долго тянутся, но
что для него полчаса?

Оле и Поляшке

Мы поедем в деревню на Майские всей семьёй:
Ты, и я, и дочка. Прихватим вещей немного.
Электричка. Привет, кочевое житьё-бытьё!
За окном деревья, поля-тополя — дорога.

Мы поедем в деревню на Майские. Тух-тудух —
три часа езды. А потом, прикурив от спички,
шутки ради тут же для дочки пущу звезду,
и звезда пронесётся в небе, как электричка.

Мы поедем в деревню на Майские. Может быть,
попрошу шоёра такси, если он сумеет,
чтоб девчонок моих ненароком не разбудить:
«Сделай музыку чуть потише, а ночь — длиннее».

* * *

Мой дом уже из виду скрылся.
И ель, и сад едва видны.
Июнь в провинциальном Рыльске.
Билет студентам — впопыти.

Набитый до отказа пазик
шумит как улей вразнобой.
Студенческие годы — праздник,
который не всегда с тобой.

Вот думаешь: окончу скоро
свою шарагу и — сорвусь.
Прощай, провинциальный город!
В Москву! В Москву!

Но перебесиши и вскоре
вернёшься ровно через год.
Тебя в провинциальный город
знакомый пазик привезёт.

* * *

Наташе Удаловой

Никитская церковь. Зabora проём.
Четыре часа до утра.
Мы, за руки взявшись, гуляем вдвоём
с тобой по никитским дворам.

И все переулки нас к церкви ведут.
Он всюду, куда ни взгляни,
чтоб были всегда у Него на виду
и чтобы из виду — ни-ни,

чтоб жили как жили, ты там, а я здесь,
в режиме коротких гудков.
Так было и будет отныне, и днесь,
и присно во веки веков.

Да, время как бремя лежит. Налегке
не выпало. Бог с ним. Идём.
Никитская церковь, киоск вдалеке,
зabora щербатый проём.

* * *

Максиму Шанину

Собаки мёрзнут в тесных конурах,
не лязгают цепями и не лают.
Как пьяный урка, нагоняя страх,
мороз собачий по дворам гуляет.

В домах тепло. Так сладко спать в тепле.
А тут сугробы — свора не продышит,
и даже если лаять — на стекле
такой слой льда — ну кто тебя услышит?

Но верится: хозяин дверь толкнёт,
и на душе от радости отляжет,
он подойдёт и даже если пнёт,
то пнёт за дело, но потом — отвяжет.

Мороз трещит собачий во дворах,
и шорохи, и всхлипы треском глушит.
Собаки мёрзнут в тесных конурах,
чтоб чуткий сон хозяев не нарушить.

О ТЕБЕ РАДУЮТСЯ

Лерен Манович

Рисуют дети ангелов весёлых,
прозрачных, как узоры на стекле.
По белому листу идёт Никола,
и так светло от снега на земле,

и так спокойно. Ангелы смеются.
Идёт Никола, и идёт зима.
Земля и небо в сумерках сольются,
повиснут где-то в воздухе дома.

Затихнет всё. Как будто пели хором,
и вдруг один умолк, совсем охрип.
А только слышится за косогором:
скрип-скрип...

Идёт Никола. Маленький. Прозрачный.
Дымок прилип к коричневой трубе.
Рисуют дети. И никто не плачет.
Все радуются о Тебе.

* * *

Весна. Прилетели грачи
и заняли город за ночь.
Сиди, Песталоцци учи,
тебе предстоит госэкзамен.

Подумаешь, красный диплом.
Шуреет весна по общаге.
Когда же наступит «потом»,
которое ты обещала?

Тепло. Уже сняли пальто.
В скамейки включены гвозди.
Бросай свои книги. Потом,
проверь мне, потом будет поздно.

Пойдём! Слышишь, я не шучу.
А ты повторяешь с обидой:
— Потом...
Я потом отучусь
и скроюсь лет на пять из виду.

Александр Сигида

TOTENTANZ

И в германской гравюре
Где всё так готично, идеино
И в гражданском глямуре
С мотивами Ганса Гольбейна
Чёрно-Белая лента
Кинохроники. Солнце и сталь.
Документы Конвента
Где массовка сродни Рифеншталь
Где горящие декорации
В Донецке премьеры «Голландца»
Где аборты и зачатие нации
Повторяют сюжет Тотентанца
Ты ныряешь за золотом Рейна
Ты — совсем как Кусто.
Если хочешь мотивов Гольбейна —
Приходи на Восток.

SORS MEA IESUS

Великолепный русофоб
Шотландский рыцарь и каратель
Раскачивал хрустальный гроб
Угрюмый сумрачный мечтатель
Воспитанный в Европе ум

Тобой сожжёные аулы
И текстов чёрный опиум
Бритоголовые назгулы
Твою свитой стать смогли
Каратель, декадент и денди
А хрестоматии — в пыли
Всё дело — в текстах. И в легенде.

ПЕРЕМИРИЕ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Крылатыми фразами армистиций
Гусиными перьями ретирад
В духе колониальных традиций
Произрастал ботанический сад
Где пение оптимистических птиц
Подобное щебету дальних столиц
Никто не нарушит в садах ботанических
Традиции древние чисток этнических.

В ЧЕРТОГАХ УКРАИНСКОГО УИЦРАОРА

Тот демон великодержавия
Он постарел и стал обрюзг.

Писать об этом ныне вправе я —
Он стал медлительный моллюск.
Он грезил всё былыми битвами
Но стали щупальца слабы
И он терял контроль над игвами
Он избегал теперь борьбы
Патриотизма, гнева, траура
Он получал всё меньше, но —
Ублюдки ктулхууицраора
Тащили в мировое дно
Гниющей плотью сифилитика
И похотью клубка червей
Так проявляется политика
И мерзостью влечёт своей...

LES LIBERTINS

Пропахший дымом из мортиры
И не остыл от алых губ
Из непротопленной квартиры
Я еду в якобинский клуб
Уже расстреляна Сорbonna
Где я был брат масонских лож
Уже последнего Бурбона
Жизнь оборвал в Париже нож
Среди кровавых наваждений
Сражений и живых картин
Среди салонных наслаждений
Ты не последний либертин
Пришла нужда и ты с охотой
Бросаешь всё и налегке
Со свеженабранной пехотой
Уходишь в белом парике
Кто обретает благосклонность
Сентиментальных алых уст
Мне нужно соблюсти законность
Исполнить что сказал Сен-Жюст
Прошай любимая химера
Сражений и живых картин
Ведь во владеньях Люцифера
Ты не последний либертин

LES SERPENTS QUI DANCENT (по мотивам Motorhead)

Мне не нужно ни Петрарки
Ни эмалей, ни камей
В европейском зоопарке
Я хочу увидеть змей
Змеёбёдная девица
Потанцуй теперь со мной
Эти пляски будут длиться
Под тропической луной
И не нужен мне Овидий
Ни классический музей
Всё гораздо ядовитей
Я хочу увидеть змей

Мне не нравится Джоконды
Слишком лунное лицо
Хочу увидеть анаконды
Исполинское кольцо
Змеёбёдная девица
Потанцуй теперь со мной
Там, где идол плосколицый
В Alma Mater под луной
Эти шахматные кольца
Эта шахчная вода
Смерть варяга-добровольца
Не забудут никогда
Змеёбёдная девица
Потанцуй теперь со мной
Там, где скифская граница
У заставы у степной

ХУАН РОМЕРО, ИСТРЕБИТЕЛЬ ЗОМБИ

Нечто созвучное в тоне медиаистерик
В культурах, отнюдь не научных, Месоамерик
Их приносили невольники тёмны угрюмы
Что наполняли испанцев тесные трюмы
Кровью пресыщены, в очередной гекатомбе
Скачут в эфире безликие белые зомби
И нечестивые речи вещает им пастор
Пленных сжигают они, чтоб доволен был Хастур
Древние нации, Боги Седой Старины
В инициации кровь — эликсир Сатаны
Нету вакцины. Случайная рана, укус —
Будешь скакать, как безумный и дикий зулус
Каждый охотник на зомби завален работой!
Нет примирения с Чёрным Бароном Субботой
Больше патронов и дробовиков
На чёрных баронов и их зомбаков!

АЛЬТЕРНАТИВА

Я ему про Фому
Он опять про Ерёму
Я ему — про Камю,
Он мне — опять про Рёма
— Искусство быть посторонним
Доступно штурмовику
— С дискурсом похороним
Будь на че ку ку ку.
— Наши стальные годы
Разрушить не сможет Крупп
— Его стальные заводы
Затмили твой маленький труп
Я ему про Фому
Он опять про Ерёму
Я ему про чуму
Он снова про Рёма и Дрёмова
Ромулу — Ромулово
Ерёме — Ерёмово
Кровь пить

С орлом одноголовым
Или в хлеву
Скотом подъярёным
Быть вне закона
Вихрем тлетворным
Или внутри загона
Придворным

В ГОРОДЕ ЦАРИТ ХАОС

Готический стим-панк
Зелёных волос пряди
Каждый порядочный франк
Мечтал о восточном яде
Он надевал бурнус
Принимал психотропы
Он приближал, француз
Закат единой Европы
Конец былых баррикад
Эстетического убийства
Долгожданный закат
Политического лесбийства
Влекомый долгой погоней
За недостижимой мечтой
К одной из колоний
К одной из колоний
Пьяный корабль свой

AD MARGINEM

Спускаясь в глубь, ко злу, в сплетение корней
Во времена эрозии, распада,
Я проживаю эру окаянных дней
Осознаю наследие Арпада
Мой предок давний, вероятно, был мадьяр,
Какой-то трансильванский Торквемада
Он разжигал тот мировой пожар
По зову крови вечного номада.
А может, он испепелял сей старый мир
В кожанке чёрной и под стягом алым
Приказы лично отдавал ему Якир
И я поэтому родился маргиналом
Пройдут года, пройдут года
Но не забудут никогда
Мадьяр и латышей стальные батальоны
Пройдут года, пройдут года
Отстроят снова города
Их именами назовут микрорайоны
Злопамятный, консервативный дух
Законсервирован в топонимах Карпат
Журчанье Чёрной Тисы мой ласкало слух,
Мы жили в мире с племенем хорват
Теперь все договоры обратились в дым
Пылает Сегед на полях Панноний
Как хорошо в семнадцатом быть молодым
В китайском иностранном легионе
Дух боевой и массовый террор
Ведь маргиналы не боятся пули

Да если б я взаправду был комкор
То предпочёл дивизию из кули
Пройдут года, пройдут года
Но не забудут никогда
Уроки Льва и лозунги Ионы
Пройдут года, пройдут года
Отстроят снова города
И позабудут маргиналов легионы

АКМЕИЗМ

Пришел удивить тебя вестью одной степная наполнена чаша тот год переломный две тысячи восьмой ты помнишь ли в нем Короташа?
ну да, был франковский поэт, Короташ чьи тексты на тему люстраций альбом подарил ему про Эрмитаж он с россыпью был иллюстраций и я посещал город Станиславов а люди там стойки, идеяны он более строгий, чем сахарный Львов львовяне инертны, кофейны...
нашел пару строчек о нем я, мой друг среди основателей корпуса ДУК я рад, что он — там, он — достойный усташ он метко стреляет, Олег Короташ запомни его, своего двойника: поэзия — войны и стенка наследника Ольжича, Маланюка, забудь о несчастном Шевченко
где кровью течет синеусый Днепр где смуте — почет и Корчинский Дмитро
где путь — в АКМЕИЗМ ты возьми патронаш в новую жизнь где Олег Короташ

SMS

Ох. как часто приходят в конверте
Извещенья былых похорон.
Бесконечными плясками смерти
Утолён меценат Саурон.
...Он поведал, как пятая рота
За Сауровкой множилась в ноль,
О безводном котле Горгората
Там, где слили сынов длинных воль
«А ещё, передайте камрадам
Пару строчек в последнем письме
Их узнаете не по наградам
А в отчётах холодного смы»
Закатилась в предсмертном восторге
Тех бровей сарацинских дуга
Неужели мы встретились в Морге
А не в поле, вблизи от Врага.

ВОЗВРАЩЕНИЕ САРМАТА

Пленённый текстами нетленными,
Их деструктивной красотой
Увы, он не торгует пленными
И не торгует наркотой

Всё дело — в бундесверовских штанах.
Ты стал тевтонец, воин и монах.
Себя ты дисциплиной онемечил,
А скольких перебил и искалечил...
Ты знаешь назубок его борьбу,
Что предопределило и судьбу.
Но вырваны страницы капитала

За честь и кровь, что почву пропитала.
Беспочвенны сравненья дилетантов!
Мы — старше реактивных лейтенантов.
От цифровой, ориентальной роскоши —
Где панцирные всадники и рокоши.
Эпоха классицизма. И порока.
Эпоха пороха. И польского барокко.

Станислав Смагин

Медицинское измерение суперенитета

За последний год в связи с активно декларируемым, но, увы, пока слабо воплощаемым в жизнь курсом «национализации» элит только ленивый не припомнил библейскую цитату «где сокровище ваше, там и сердце будет ваше». В свете последних резких, но справедливых высказываний президента на только что прошедшем съезде ОНФ составные части этого высказывания можно поменять местами: «Где сердце (а также печень, почки и другие органы) ваше, там и сокровище ваше».

Президент Владимир Путин озвучил для определенного сословия диковинные, если не кощунственные вещи. В стенах принимающего съезд «Экспоцентра» на Красной Пресне прозвучал совет чиновникам лечиться дома и, шире, создавать достойную сферу медицинских услуг на родной земле, а не пользоваться услугами чужеземной.

Выдвинутый тезис любому адекватному человеку представляется азбучной истиной. Частное лицо, имеющее на то средства и возможности, может лечить свои хворобы в любом конце света. Здесь, конечно, в связи с нарастанием геополитического противостояния и усилением западной русофобии до предельных величин, тоже возникают сомнения. Однако касательно государевых людей вопросов быть не может.

Лечиться и вообще пользоваться социальной инфраструктурой они должны исключительно дома, на своей родине — которой и служат. Крепить к дорогим костюмам георгиевские ленты и пестро витийствовать о гадящей англичанке, шалящей немке и безобразничающей американке наше чиновничье-кабинетное население научилось виртуозно. Демонстрировать на личном примере верность обозначенным ориентирам, причем даже в самых банальных бытовых вещах, оказалось делом более трудным.

Маркс считал одной из фундаментальных проблем капиталистического строя отчуждение человека от собственного труда и его плодов. В случае же капитализма дикого и компрадорского происходит отчуждение от плодов собственного труда не только простого, но и чиновного человека. Это уже не проблема, а преступление — не перед самим чиновником, естественно, а перед выгодо- (точнее, невыгодо-)

получателями его деятельности. Как еще назвать всестороннее, повсеместное и зачастую издевательское снижение затрат и внимания к здравоохранению, образованию, сельскому хозяйству, дорогам, никак не касающееся его инициаторов и их семей, вкушающих радости зарубежных санаториев, университетов и гладких скоростных трасс?

Никто не требует показухи вроде походов Ельцина в бытность главой Москвы по булочным и поездок в троллейбусе. Организовать такой поверхностный эгалитаризм несложно: реальный же результат будет неуклонно стремиться к нулю. Приобщенность государственных служащих к результатам своей работы должна быть повседневной и неброской, но при необходимости жестко контролируемой. При распаде этой связи не нужен даже прямой подкуп — паралич лояльности бюрократов национальным интересам произойдет и так.

Буквально в июле я был в родных местах отца, поселке Пачелма Пензенской области. В советское время здесь была мощнейшая птицефабрика. Работавший там шофером мой дядя развозил кур и яйца по маршрутам от Карпат и Прибалтики до Кургана. Имелся хлебокомбинат, маслодельный завод, завод ЖБИ. С началом 1990-х всё пришло в запустение. Теперь работы в районе нет. На все окрестности одна больница. В случае родов надо ехать в соседний райцентр. Инфаркт или какая-нибудь операция сложнее, чем обработка неглубокой раны, — ехать приходится и вовсе за полтораста километров в Пензу. Почти все, кто живет в сельской местности или имеет там родственников, скажут, что у них дела обстоят аналогичным образом. Именно. Так — практически везде.

К чиновникам поселково-районного уровня претензий здесь не так много: они могут грешить коррупцией, кумовством или халатностью, но в случае внезапных проблем со здоровьем им самим суждено мчать в ночи по ухабам в город, пусть даже в иномарке, а не в «жигуленке». Если же и там помочь не смогут — на дорогую зарубежную клинику деньги вряд ли найдутся. А вот начиная с уровня самого города, где принимаются решения относительно «оптимизации» сельской медицины, возникают вопросы.

Чем город крупнее и ближе к Москве — тем вопросы печальнее и серьезнее.

Когда я был юн и страдал абстрактным гуманизмом либерального толка, меня очень возмущал один эпизод из нашего замечательного сериала «Место встречи изменить нельзя». Помните, когда Жеглов отдает свои и Шарапова продуктые карточки с седке Шуре вместо украденных у нее, Шура обещает в благодарность «отстирать, помыть полы»? Жеглов же суворо прерывает ее: не говори глупостей, тебе детей кормить, солдаты нам еще понадобятся. Мне казалось возмутительным кормить детей не как собственно детей, а как будущих воинов.

Сейчас я понимаю правоту Глеба Егоровича по этому и многим другим вопросам. Звучит суворо? Сформулируем более дипломатично.

В условиях серьезной международной напряженности и небывалой со времен холодной войны угрозы национальной безопасности гражданам приходится жертвовать многими частными интересами ради общих. Но и государство, особенно в лице чиновников — основная точка сборки данных общих интересов, — должно бы быть особо чутким к гражданам, что выражается в справедливом распределении не только уменьшающихся благ, но и трудностей.

Когда же солдаты в окопе доедают продукты, оставшиеся с доперестроек времена по карточкам Жеглова и Шарапова, а командир с политруком ползут через нейтралку подлечиться в медсанчасти противника, о каком-либо сохранении суверенитета говорить смешно.

Правонападение на грани

Публицисты и аналитики, пишущие о пороках современного российского псевдодолиберализма, на деле являющегося лишь острой формой русофобии, нередко слышат упрек, мол, нет никакой нужды тратить время на малочисленных маргиналов, с которыми и так всем все понятно. Сие справедливо и ошибочно одновременно. Либерал-русофобы чисто статистически представляют собой смехотворную величину, но обладают репутацией — ими же самими на ровном, а то и разрыхленном месте созданной — светочей морали и интеллекта, а также гигантскими ресурсами в медийной сфере, причем некоторые из их площадок фактически находятся на государственном содержании, взять хотя бы «Эхо Москвы». Именно эти господа определяют систему координат, в которой не только действуют сами, но и заставляют вариться нас, патриотов.

Проанализировав ситуацию, вы наверняка согласитесь, что наш дискурс зачастую является оборонительным, отталкивающимся и одновременно связанным, пусть и негативным образом, с нашими недругами. Например, в последнее время появля-

ются хорошие исторические материалы о традициях русской кухни, но поводом к ним обычно служит статья какого-нибудь горе-турмана, после турне по столичным ресторанам рассуждающего о неустранимом преимуществе хамона и пармезана над щами и квасом.

Когда было объявлено, что власти Москвы планируют возвести памятник князю Владимиру, патриоты порадовались, но тихо и сдержанно, — и лишь мощный хор воплей все тех же завсегдатаев «Граней слоновьего сноба» о полном наборе пороков крестителя Руси, включая изуверство и сексуальные девиации, заставил повысить голос в ответ.

Даже столь высмеиваемый гранеными снобами довод патриотов «а в Америке негров линчуют» (Сербию бомбили, Ближний Восток подожгли) ими же самими и провоцируется, ведь о грехах Запада мы обычно вспоминаем не на ровном месте, а в ответ на феерические параллели «Путин=Гитлер, Крым=Судеты, Джемилев=Юлиус Фучик и Мартин Лютер Кинг в одном флаконе, не зря так Обаме полюбился».

Брякнуть ерунду, вызвать реакцию, высмеять ее — это называется «сам танцую, сам пою, сам билеты продаю». И даже ваяя эти строки о том, почему мы реагируем на либералов, я фактически играю на их поле, в другой команде, конечно, но кассовый сбор-то все равно получает принимающая сторона. Какой-то замкнутый и порочный круг!

Новость из совсем свежих — в Санкт-Петербурге местные законодатели, господа Резник, Вишневский и другие из той же оперы, отнюдь не Мариинской, собираются провести митинг в защиту сброшенного со здания изображения нечистой силы. Лозунг у мероприятия заявлен дивный — «Же сюи Мефистофель» (очень, кстати, хорошо напевно скандировать на мотив «Косил Ясь конюшину», дарю идею организаторам). Оставим даже в стороне морально-этический аспект такой постановки вопроса, взглянемся лишь в правовой. Понимают ли Мефистофелевы заступники, что прямо противоречат своим — да, персонально своим, ибо г-н Вишневский был здесь одним из ключевых ораторов — прежним выступлениям на тему оскорблений чувств верующих: «Сама подобная постановка вопроса абсурдна, ведь Бог и вся его команда относятся к числу выдуманных персонажей, их поругание никак нельзя сравнить с поруганием реально существующих людей».

Не сомневаюсь, понимают, ведь они через одного юристы и/или сыновья юристов (ТМ). Но одновременно понимают, что мало кто возьмется это обосновать, не из боязни, нет, из осознания бесперспективности затеи и нежелания способствовать альтернативной ароматизации окрестностей. А кто возьмется — глухо завязнет в оборонительных порядках у чужой штрафной, опять сыграв на повышение премиальных для соперничающей команды. Легче не браться вообще. И оправдание самим себе можно выдумать, дескать, они же как бы не за самого Мефистофеля, а за историческую застройку рубятся, не

подкопаешься... Видите, как ненароком мы сами же за врагов и отоборонялись.

Все же рискну перехватить мяч. Если совестливые либералы, сокращенно совестлибы, переживают относительно неприкосновенности застройки, так и выходили бы с лозунгом «Же сюи застройка». Но нет, на знамена вынесен конкретно инфернальный персонаж. Что ж, вот еще шанс доказать, что людям важны памятники русских городов, а не что-то побочное. В Новочеркасске на площади возле Патриаршего Вознесенского всеказачьего собора, главного храма Донской земли, рабочие в конце августа закатывали в асфальт историческую брускатку, первый камень в основу которой положил 210 лет назад основатель города, легендарный Матвей Платов. Тогда же появился своеобразный налог, заключавшийся в обязанности каждого, кто въезжал в город, привезти с собой булыжник для мостовой. Ну а нынче булыжники, перевидавшие неисчислимое количество знаменитых людей и знаменательных событий, рисуют исчезнуть под асфальтовой толщей. Инициатор варварства — городская администрация, уже пытавшаяся провернуть этот фокус несколько лет назад. Рискнем утверждать, что в рейтинге культурно-исторического наследия России новочеркасская площадь находится на энное количество пунктов выше невского барельефа с чертовщинкой. Виновники происходящего варварства известны поименно, в отличие от анонимных ниспровергателей Мефистофеля. И каковы отклики на происходящее? В самом Новочеркасске — да, резонанс, но уже за его чертой — короткие сообщения в местной независимой прессе с не очень внушительным числом перепостов в соцсетях, идущих, за редким исключением, лишь от местных пользователей. В итоге кощунственное деяние, скрытое под маркой градостроительных забот, с трудом удалось не прекратить, нет, лишь приостановить...

Как бы то ни было, патриоты за пределами области о происходящем практически не знают, либералы же если и знают, то совершенно равнодушны к надругательству над «ватницкими» ценностями. Собор! Православный!! Казачий!!! Скорее мефистофелианские совестлибы втихую радуются, как радовались их духовные — и нередко физические — предки аналогичному уничтожению русского исторического наследия в 1920-х. Одновременно в столице из занимаемого ими Дома Телешова выселяют городское и областное (по Московской области) отделения ВООПИК, легендарной организации, в свое время как раз ставшей флагманом борьбы за сохранение нашего наследия и наших памятников. И, по совпадению или нет, синхронно запущен процесс выселения из занимаемого помещения столь же легендарного журнала «Москва». Это издание, которое всегда было рупором той борьбы, что вел ВООПИК, и вообще одной из главных точек сборки отечественной патриотической мысли. Журнал имеет значение и в международном мас-

штабе, ведь на его страницах когда-то был опубликован роман «Мастер и Маргарита», несомненный шедевр мировой литературы. Вот уж где совестлибам, зорко и строго пребывающим на страже чемоданов с мировым художественно-гуманитарным багажом, можно было бы сказать свое веское слово. Молчание, глухое молчание... Патриоты, конечно, более активны, чем в случае с Новочеркасском, все же действие разворачивается в Белокаменной. Перепостов побольше, есть уже даже петиции и статьи, даже пресс-конференция ВООПИК вроде состоялась. Смешно, если сравнить с масштабом Мефистофелевой возни.

Какое-то время назад на свет появился феномен «русской правозащиты», связанный с ужасным положением русских мигрантов из Средней Азии и кавказских республик, а также резким обострением межнациональных отношений, из-за которого страдают, будем откровенны, в основном русские. Ничего странного здесь вроде нет, защита прав представителей N-нации другими, более юридически подкованными, обеспеченными и попросту активными ее представителями, — распространенное и естественное явление. Но мы народ имперский, со всеми вытекающими плюсами и минусами, этнонациональное сознание, даже понимаемое широко, не биологически, а по критериям личного духовного выбора, воспитания и образа жизни, у нас размыто.

Русский, помоги русскому... Фашизм какой-то, 282 статья. И так ведь считают даже многие честные замечательные патриоты-имперцы, люди идейной формации, к которой отношу себя и я. Что уж говорить о «патриотах-охранителях» на казенном довольствии, смыкающихся в своей небескорыстной работе с ярко антисоциальными либералами и, сформулируем мягко, вненационально настроенными чиновниками.

Вернусь к тому, о чем писал несколько статей назад. Вы, наверное, слышали «охранительский» тезис: «Россия по-русски, конечно, звучит хорошо, но надо ли это большинству самих русских? Волнует ли их данный вопрос? Вряд ли». Спору нет, далеко не всякий русский чувствует разницу между его этническим и безликим политонимом «россиянин». Еще меньше тех, кто в курсе фактического наличия у республик и автономий РФ статуса квазигосударств и отсутствия каких-либо конституционно закрепленных прав у русских.

Зато все эти нюансы прекрасно известны журналисту «Эха Москвы», бюрократу, подписывающему в родном улусе постановление о сокращении преподавания русского языка, и втайне опекаемому им местному сепаратисту-радикалу. Когда неустойчивая конструкция нашего государства, подтачиваемая внутренними и внешними причинами, начнет рушиться, наигранно удивляясь, что русские сами до такого довели своей пассивностью и близорукостью, будет поздно. Дуэт бюрократа и «охранителя», на радость совестлибу повторяющих мантру «русские са-

ми не понимают и не хотят», подобен врачу, считающему, что больного не надо лечить, так как он сам не понимает симптомов своей болезни. Приведу еще одну строчку из анамнеза. Практически каждый из нас в интернет-дискуссиях уже сталкивался с аргументом из арсенала одновременно «охранителей» и либералов: «А что вас так русские детишки Донбасса волнуют? На Ближнем Востоке и в Африке детишкам тоже несладко, а их вам жалко?» Аргумент совсем уж провокационный, доставаемый ввиду его очевидной одиозности не всегда и традиционно получающий жесткий отпор. Но сам факт, что его решаются озвучивать, причем с весьма наглым видом, говорит о чрезмерной распахнутости у нас пресловутых окон Овертона.

Нам кровь из носу нужна русская правозащита, русская, повторюсь, в самом широком смысле, фактически синонимичном КрымНаш-у, но КрымНаш-у искреннему, а не по долгу службы, конъюнктуре и казенным харчам. Более того, нужна не только правозащита, но и правонападение. Во всем, что касается наших памятников, ценностей, наследия, интересов. И главная цель — сформировать собственную систему координат, ни одной ниточкой не связанную с системой противника, с любыми Гранями, что слоновьего сноба, что носорожьего парвению. Построить, наконец, перед грядущим чемпионатом мира по геополитическому переделу домашний стадион, а не ютиться прижималами во вражеских подтрибунных помещениях. Чтобы, прочитав очередную новость из серии «Константин Боровой признался: ему стыдно, что он русский», мы, отхочтав положенное, не тянулись озабоченно писать длинную объяснительную по поводу своего смеха. Никаких объяснительных. Достаточно смеха.

В прошлом году после крушения «боинга» г-н Десницкий, известный либеральный библеист, написал статью на Газете.ru. В своем фирменном утонченном стиле он проводил следующую мысль: да, может, ополченцы и Россия никакого отношения к катастрофе не имеют. Но картинка западных телеканалов уже поймала кадры, где хмурые и злые бойцы ДНР копаются на месте крушения. Эти кадры как бы создали реальность, в которой вина ополченцев доказана, следовательно, теперь мы существуем в этой реальности как в единственной истинной, и всем недовольным придется с данным фактом смириться и вину России/Новороссии признать. Подумал сначала — может, я чего не понял, может, есть еще какие-то варианты понимания написанного или автор вообще никаких выводов не делает, отдает на откуп читателям. Закрыл, снова открыл, перечитал. Смысл остался тем же. Думаю, это говорит чуть меньше, чем все, о позиции и мировоззренческой оптике не только г-на Десницкого, но и всего сословия, к которому он принадлежит.

Милые совестливые люди с хорошими лицами, они привыкли, что реальность формируется их газетными колонками, постами в Фейсбуке и вообще

их предпочтениями, а их оппоненты обречены проявлять в незавидном статусе отрицателей объективного. Лишим совестливых людей их затянувшейся неги, создадим, вернее отвоюем, пространство, где сможем жить по своим правилам, а не по правилам врага с вписанными от руки многочисленными «не», где плюс — это плюс, а не минус, среагировавший на минус. Задача из числа очень сложных, почти невыполнимых, ведь нам противостоит спайка внутренних и внешних врагов с такими друзьями, при которых и врагов не надо. Так никто и не говорил, что будет легко. А начать надо с малого — с голоса в защиту мостовых и журналов.

Слеза пенсионерки

Одним из любимых жанров господ из категории «попа валить» являются истории под общим условным названием «куда вашей Рашке думать о Крыме и геополитике, если...»; далее обычно следует описание какого-либо инцидента или несуразиц, аналоги которых вполне себе происходят на Западе, что, впрочем, совсем не мешает тамошним странам проводить жесткую и даже агрессивно-империалистическую внешнюю политику.

Произошедшее на кассе в одном из магазинов Сызрани наверняка станет лакомой добычей для любителей информационной тухлятинки, но это как раз тот случай, когда спорить с ними тяжело по соображениям логики, а главное — муторных душевных ощущений. Происходит ли такое на Западе? Возможно. Важнее и страшнее, что это произошло у нас.

Дик и омерзителен поступок явно не очень адекватного любителя боевых искусств, ни с того ни с сего изувечившего пенсионерку. Вдвойне непонятным и диким кажется поведение сотрудников супермаркета и других его посетителей, фактически повторствовавших происходящему своим равнодушием и вялым откликом. Втройне же невероятна в самом плохом смысле слова реакция правоохранительных органов, долго, вплоть до широкой огласки преступления, отказывавшихся предпринимать в связи с ним какие-либо действия и даже, по словам супруга потерпевшей, цинично заявлявших, мол, избиение ей «почудилось». Кроме того, оказалось, что некоторое время назад молодчик, уже получивший прозвище «сызранский Тайсон», нанес травмы своему соседу, тоже пенсионеру (и тоже безо всякой мотивации), но заявление в полицию не приняли и по данному эпизоду.

В советскую эпоху наша страна, особенно за пределами мегаполисов, во многом жила по законам и нормам традиционного общества, с присущим ему низовым коллективизмом и общинной спайкой. Поэтому парадоксально, но факт, при более суровом и жестком, чем сейчас, политическом режиме пре-

ступления правоохранителей, а также их равнодушие и халатность не раз вызывали реакцию населения, градусом ярости намного превосходящую нынешнюю. Хроники тех лет, получившие широкую огласку лишь недавно, фиксируют множество бунтов и беспорядков, с избиениями милиционеров, разгромами милицейских участков и тюрем. Тема коррумпированных, бездушных и людоедских органов внутренних дел, во многом базировавшаяся на реальных фактах, стала одним из самых выигрышных козырей перестроекных «демократизаторов», одним из самых мощных таранов, ломавших существующую власть. Другими тузами в той колоде были требования свободы слова, либерализации экономики, отмены партийной монополии КПСС. Полумиллионные, а то и более масштабные демонстрации несли эти лозунги на своих транспарантах. Опять же парадоксально, но факт, мобилизационно-коллективистские механизмы традиционного общества были использованы для его разрушения.

Сейчас индивидуализм и атомизация в нашей стране превышают все разумные пределы. Восстановление разорванных до зияющих ран социальных тканей вроде бы постепенно происходит, но крайне медленно, непоследовательно и причудливо, выйти на митинг в честь возвращения Крыма русскому уже в радость, а вот на субботник или собрание жильцов в родном дворе — все еще не очень. Бюрократу, считающему государство синонимом своего уютного кабинета, а не защитной броней народа и механизмом его воспроизведения в истории, подобное положение дел даже нравится, людишки не бунтуют и не собираются больше одного — государству (сиречь бюрократу) нечего бояться. Здесь палка о двух концах. С одного конца, точно так же люди, разрозненные и живущие исключительно обывательщиной самого мелкого пошиба, не выйдут затем защищать синонимичное чиновному кабинету государство от внешнего неприятеля или внутреннего Майдана. Откуда взяться Майдану при такой разобщенности граждан? А это другой конец палки. У всякой людской пассивности есть пределы, обычно совпадающие с пределами минимальной комфортности или даже физической безопасности существования. Мы уже видели, как бездумная и близорукая, чтобы не сказать сильно резче, политика российских властей в национальном вопросе приводила в последнее десятилетие к серьезным, пусть и локальным, беспорядкам. Волнения, спровоцированные социально-экономической ситуацией и все той же деятельностью/бездействием силовых структур, вполне вероятно, еще впереди. Как обоснованным недовольством простого честного человека умеют пользоваться бесы разрушения государственности — мы видели на примерах «перестройки» и Киева. Меньшая часть населения, преодолев апатию, пойдет на баррикады, а остальные, пребывая все в том же сонном состоянии, ничего ей не противопоставят. Хорошая перспектива? Ой спорно.

Кто-то может сказать, что цинично рассматривать несчастье пожилой жительницы Сызрани исключительно через призму стабильности страны. Это не совсем верная постановка вопроса, я слегка о другом. У случившегося, вернувшись к началу статьи, есть три уровня. Первый, касающийся непосредственно удара, нанесенного подонком, совершенно прозрачен с точки зрения индивидуальной этики, что христианской, что светско-гуманистической, тоже, впрочем, базирующейся на христианском фундаменте. Тут и спорить не о чем. Но есть второй и третий уровни, касающиеся реакции на происшествие общества и государства в лице их низовых срезов, то бишь очевидцев избиения и сотрудников полиции. И здесь... А здесь, как мне кажется, тоже спорить не о чем, общество и государство оказались не на высоте даже с точки зрения минимальных требований, предъявляемых к ним этикой, как христианской, так и светской: если нельзя построить Рай на земле, то хотя бы не допускайте ада. Много было и еще будет споров о сакральном вопросе Достоевского: возможно ли счастье человеческое, коли в его фундаменте есть хоть одна детская слезинка? Уверен, что слезы, подобные слезам сызранской пенсионерки, этот фундамент точно размывают.

Трагедия и триумф русского Октября

Большинство обывателей считают термин «апокалипсис» исключительно синонимом ужасающих событий глобального масштаба как минимум, конца света — как максимум. Это верно, но одновременно и нет. В Откровении Иоанна Богослова, другим наименованием которого является греческое слово «апокалипсис» (существенно, «откровение»), планетарная катастрофа и «конец» нынешнего «света» являются этапом величайшего триумфа — Второго пришествия Иисуса Христа. Суть последней книги Нового Завета и аберрация понимания обычным человеком ее названия довольно наглядно характеризуют одну из главных идей христианства, а именно соседство и неразрывную связь трагедии и победы.

Впрочем, еще до Веры Иисуса, распятого при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшаго в третий день по Писанию, дух этого дуализма был силен в античной культуре. О нем, как об одном из фундаментальных оснований европейской цивилизации, на протяжении не одного тысячелетия писал выдающийся русский философ, покийный Вадим Цымбурский: «Победа над Троей выкуплена у богов ценой уничтожения самой греческой цивилизации...»

Как писал в своей книге о мыслителе Борис Межуев, Цымбурский обозначил и постулировал парадоксальную связь «триумфа» и «распада», которая, как он считал, не только заложена в основу европейской поэтической традиции благодаря троянскому

эпосу, но и составляет глубинный смысл всей европейской культуры. Отдал должное этой теме и сам Межуев. Сильное эссе на примере одной из картин Гойи посвятил ей Максим Кантор, и то, что после Крыма он ударился в желчную и грубую, лишенную всякого намека на хотя бы стилистический талант русофобию, не отменяет ценности написанного им ранее, а в чем-то даже подчеркивает всю ту же связь падения и заоблачного полета.

События 3–4 октября 1993 года были падением, и падением страшным. Гражданская война вновь пришла в страну с еще не до конца зарубцевавшимися ранами от ее предшественницы семидесятипятилетней давности. Не пришла даже, а вышла из спячки, ибо, как выяснилось, толком она не уходила.

Страшна была танковая пальба по парламенту, но едва ли не страшнее оказались залпы авторучек. На следующий день после расстрела Верховного Совета появилось так называемое «письмо 42-х».

Некоторые подписи под ним были вполне закономерны, некоторые (Астафьева, Лихачева) стали горьким сюрпризом, кое-кого и кое-что в другой обстановке можно было бы отнести к числу не лишенных забавности казусов (так, Василь Быков, всю перестроечную пору призывавший Белоруссию как можно скорее и решительнее отмежеваться от московской империалистической сатрапии и «тюрьмы народов», вдруг оказался активным участником внутриполитической жизни этой самой «тюрьмы»).

В общем же и целом, сей печальной памяти документ стал одной из наиболее черных и позорных вех в истории отечественной интеллигенции. На счастье, через несколько дней появилось ответное «письмо трех», составленное Андреем Синявским, Владимиром Максимовым и Петром Егидесом.

Синявский и Максимов — в истории русской эмиграции и, возможно, даже всей русской культуры второй половины XX века сложно найти двух других столь же открыто непримиримых друг к другу персонажей, не объединенных решительно ничем, кроме языка и факта отъезда на чужбину. Максимов — ярый почвенник, правый консерватор, бескомпромиссный антикоммунист, зло бравивший западных правителей и мыслителей дум за излишне травоядное отношение к СССР. Синявский — человек лево-либеральных и близких к космополитическим взглядам, написавший совершенно скандальную книгу «Прогулки с Пушкиным» и назвавший как-то Россию «матерью-сукой».

Максимов и Синявский полтора с лишним десятилетия беспрерывно выясняли на страницах эмигрантской прессы отношения, то и дело перескакивая с общественно-политических разногласий на личности. То был совершенно шекспировский накал страстей, местами, впрочем, скорее напоминавший кухню коммуналки, и появление фамилий двух непримиримых по соседству могло, казалось, состояться лишь в отчете об очередной их перепалке. Октябрь-93 наконец свел их вместе в чем-то ином.

«На днях мы, давние оппоненты, чтобы не сказать проще — многолетние враги, сели за один стол. Сели не потому, что по-христиански простили друг другу, а потому, что в жизни каждого человека есть ценности, которые ему дороже самого себя, своих бессонных ночей, смертельных обид и отчаяний. Ценности эти — Родина и Свобода. Сегодня они в опасности», — такими словами начиналось это иное. Далее было о наболевшем, о преступном безумии президента и гнусном цинизме псевдогуманистов от литературы, ельцинское безумие поддержавших и даже призывавших к его усилению. Вот так за страшной национальной трагедией последовал пусть локальный, но очень важный и символичный триумф, преодоление личного ради высших ценностей, а позорное глубочайшее грехопадение российского мыслящего сословия оказалось искуплено парением души нескольких его представителей.

Через несколько же лет состоялись события, спровоцировавшие уже врачеванию самой октябрьской катастрофы. Дадим слово Александру Проханову: *«Я помню, когда случилась трагедия с «Курском», когда он тонул, в океане погибли моряки, вокруг этой трагедии соединились все. И те, кто давил Белый дом и стрелял в него, и те, кто отбивался и падал под выстрелами автоматов и танков. Это была национальная беда и трагедия. И она сплотила нас вместе. А во время бесланского террористического акта, когда наши альфовцы, когда бойцы спецназа брали штурмом эту трагическую школу, все мы молились за их жизни, за их судьбу. И те, кто был на баррикадах Дома Советов, и те, кто штурмовал их. А во время чеченской войны, во время трагической и великой войны, когда объединились наконец патриоты Чечни и патриоты России, я помню, что под Аргуном перед тем, как начаться штурму Аргуна, я находился в расположении знаменитого наро-фоминского десантного полка, штурмовавшего в свое время Дом Советов. Я спал вместе с ними в палатке, вместе с ними выходил на передовую. И я не чувствовал в них врагов. Я чувствовал в них братьев. Я чувствовал в них тех русских патриотов, которые готовы были отдать свои жизни за спасение государства Российского».*

В 2014 году, благодаря Крыму и Новороссии, вновь состоялось не виданное ранее единение, стершее очень многие прежние обиды, конфликты и разногласия, расцениваемые ранее абсолютно непреодолимыми. В один строй встали «белые» и «красные», левые и правые, свободолюбцы и сторонники «твердой руки», люди, абсолютно лояльные нынешней власти, и непримиримые борцы с нею, сидевшие за эту борьбу в тюрьме ранее (Лимонов) и даже сидящие сейчас (Удальцов).

На донбасской стороне мы увидели Андрея Бабицкого, доселе казавшегося отпетым и неизлечимым либерал-русофобом, другом ичкерийских бандитов и врагом русской государственности. Да, были и потери. Тот же Кантор — да бог с ним, но буквально физическую боль мне принесло известие, что ле-

гендерный Сергей Червонопиский, некогда защищавший на Съезде народных депутатов СССР Советскую армию от нападок Сахарова, нынче призывает украинские власти активнее использовать афганский опыт в зоне АТО.

Материалист назовет это законом сохранения вещества, более метафизический взгляд я уже изложил выше. Падение и взлет, победа и катастрофа — соседи, ближайшие родственники и попросту две половинки одного целого. На донбасской земле и в ситуации вокруг нее сейчас очень много от катастрофы. Но и триумф мы уже видим, а его высшая точка, уверен, еще впереди.

У премии не русское лицо

В грандиозной церемонии открытия Сочинской Олимпиады-2014 был практически единственный момент, который меня не то что даже расстроил, а «царапнул», ввел в недоумение. Речь о представлении русского алфавита, когда каждой букве соответствовал великий человек нашей земли, фамилия которого начиналась на эту букву. На Ш значился Шагал, почему — лично мне не совсем понятно. Дело, конечно, не в каких-то этнических фобиях и не в отношении к творчеству, хотя, признаться, стилистика Шагала совсем не в моем вкусе. Просто сопряженность этого художника с историей и культурой России объективно близка к минимуму. Он родился и провел детство в еврейской среде Витебской губернии, довольно мало сообщавшейся с окружающей белорусской средой, не говоря уже о великороссийской. Затем учился в Петербурге и вращался в кругах тамошней либерально-космополитической интеллигенции, весьма далекой от любой национальной укорененности, в том числе и русской. Париж, опять не-надолго город на Неве, вновь Витебск, где после революции Шагал получает место комиссара по делам искусств. Советская Белоруссия как раз начинала путь к интересному эксперименту 20–30-х годов, когда она фактически не была национальным образованием белорусского или русского народа, вся официальная жизнь шла на четырех языках — белорусском, русском, идише и польском. Ненадолго Москва, работа в еврейской трудовой школе-колонии и еврейском театре, в 1922 году — отъезд в Литву, а затем навсегда в дальнее зарубежье. Следы русских мотивов в творчестве знаменитого мастера отсутствуют почти полностью. Назвать его русским или хотя бы российским художником — все равно что Сибелиуса — русским композитором, Голду Меир и Владимира Жаботинского — русскими политическими деятелями (у Жаботинского на это прав, по-жалуй, даже побольше), Рабинраната Тагора причислить к английским, а Редьярда Киплинга, соответственно, к индийским литераторам. Ей-богу, лучше бы на Ш был помянут Шолохов или Шаляпин.

Однако Шагал, не будучи русским деятелем культуры, не был и антирусским. А вот другая персона, имеющая отношение к Белоруссии, свою русофобию не скрывает и едва ли не бравирует ею, однако отечественная либеральная интеллигенция практически насилино призывает гордиться достижениями данной персоны. Речь, как вы, наверное, уже поняли, о свежеиспеченной нобелевской лауреатке Светлане Алексиевич. Родилась она на Западной Украине в семье белоруса и украинки, всю сознательную жизнь провела в Белоруссии, после распада СССР долго жила в Западной Европе, недавно вернулась на родину. В советское время написала по-своему сильное произведение «У войны не женское лицо» — ну, как написала, собрала воспоминания женщин, переживших ВОВ, и литературно обработала; это вообще едва ли не единственное ее амплуа — переложение чужих рассказов. Уже в 90-х отметилась «Чернобыльской молитвой». Политическая позиция, как уже сказано выше, яро антироссийская и антирусская. Неистово ругает Лукашенко, в первую очередь как раз за дружбу с Москвой. После возвращения Крыма в родную русскую гавань Алексиевич написала статью для *Frankfurter Allgemeine*, где, в частности, блеснула следующими перлами: «После долгих лет унижения все хотят «маленькой победоносной войны»... Даже молодежь заражена имперскими амбициями... Путин сделал ставку на низменные инстинкты и выиграл. Даже если бы завтра Путина не стало, куда бы мы делись от самих себя?.. Митинг за победу в Крыму собрал 20 тысяч человек с плакатами: «Русский дух непобедим!», «Не отдадим Украину Америке!», «Украина, свобода, Путин». Молебны, священники, хоругви, патетические речи — какая-то архаика... Ярость и ненависть на лицах». Впрочем, русофобских высказываний у дамы и без этого набралось солидное количество.

Не вижу ни одной причины нормальному русскому человеку радоваться за Алексиевич и считать своим ее очевидно политически мотивированный успех.

Русскоязычность, кровная принадлежность к триединому русскому народу, общее советское прошлое? На днях еще один человек, отвечающий всем трем обозначенным условиям, Юрий Мушкетик, разразился на страницах украинской прессы феерическим выступлением о «дичайших агрессивнейших московитах», «завшивленных и диких русских войсках», «московских ордах на Украине», «русском мире», который «сродни чуме», далее везде. А ведь Мушкетик в советское время был позаметнее и по-звучнее Алексиевич — лауреат ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Дружбы Народов», ордена «Знак Почета», лауреат Государственных премий СССР, УССР и премии Ленинского комсомола УССР имени Н. Островского, последний глава Союза писателей УССР, а затем первый в эпоху независимости. Свой последний опус он, надо признать, написал на украинском, но раньше точно такие же выкладывал и на русском. И что теперь, если ему, что

вряд ли кого-то сильно удивит, выпишут какую-нибудь престижную международную награду, — нам тоже радоваться?

Ну не хотим мы радоваться, и всё тут. Алексей Навальный, раздраженный этой невосторженностью, написал в Твиттере: «Русофобия путинских дурачков. Им лучше, чтоб премию японец получил, чем пишущий по-русски, но ругающий Путина».

Алексей Анатольевич думает, наверное, что удачно съязвил и подколол оппонентов, выявил ущербную парадоксальность «ватного» мышления, но на деле никакого парадокса вовсе и нет. Безусловно, лучше японец. Если это честный японец, пусть даже неистово ругающий свою власть, но не противопо-

ставляющий себя своей Отчизне, народу и культурно-цивилизационной идентичности.

Редактор журнала «Вопросы национализма» Сергей Сергеев, человек далеко не во всем близких мне взглядов, недавно изрек на Фейсбуке замечательную мысль: «Мне одинаково подозрительны те, которым победа в борьбе между любовью к истине и любовью к своему народу — в ту или другую сторону — не составляет труда. У одних что-то не в порядке с сердцем, у других — с головой».

Те, кто сейчас бросает в воздух чепчики в честь Алексеевича, решили для себя эту мучительную проблему путем удивительного синтеза: для них истина — это всегда то, что направлено против их народа.

Георгий Панкратов

Десталинизация: об истинных целях и последствиях

Разговоры о десталинизации начались в октябре 2010 года, когда назначенный руководителем Совета по правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов заявил, что видит ее одной из своих главных задач на этом посту. В его понимании задача сводилась к изменению общественного мнения: сама личность Иосифа Виссарионовича Сталина осталась фактом истории и вряд ли подлежит пересмотру — об историческом периоде страны времен его правления известно практически все, и ожидать каких-то новых свидетельств, способных «пролить свет» на ту эпоху, да и просто добавить к ней что-то существенное, не приходится.

Для истории нашего государства «развенчание» культа личности — явление не новое, прежние две волны десталинизации общеизвестны: за первую ответствен Хрущев, стремившийся избавиться от наследия предшественника «по горячим следам», вторая была порождением перестройки и привела в итоге к событию, которое нынешний руководитель государства Владимир Путин спустя много лет назовет «крупнейшей геополитической катастрофой». Современная, третья, разговоры о которой то и дело возникают то тут, то там, бьет совсем не по «вождю народов», а по нынешнему времени, в котором, далеком от той эпохи, Сталин уже является не исторической личностью, тем самым «вождем», а символом, причем универсальным, через отношение к которому различные социальные группы выражают собственные ценности. Важно понимать, что и само слово «сталинист» лишь в какой-то степени означает «поддерживающий политику Сталина», и в гораздо большей — поддерживающий определенный набор ценностей, ассоциируемых (что — важно! — далеко не всегда оправданно) с самим Сталиным. На бытовом уровне распространена фраза: «Вот ты поддерживаешь Сталина, а живи ты в его вре-

мя...». Тем не менее очевидно, что «в то время» уже никто жить не будет, и все апелляции к Сталину, происходящие сегодня со стороны его сторонников и противников, используются как выразительное и понятное отношение к сегодняшней действительности.

Знаменитое «Письмо товарищу Сталину», сочиненное в свое время писателем Прилепиным якобы от имени российской либеральной общественности, — яркое подтверждение тому, что упоминание вождя есть лучший способ вызвать активную и даже яростную дискуссию между представителями разных групп населения, которые существовали в нашей стране как будто параллельно, условно договорившись не замечать друг друга, а после начала чудовищных событий на бывшей Украине перешедших в состояние открытой вражды. Оно написано на волне популярности протестных митингов, обозначивших чудовищный раскол «либеральной общественности» и того гигантского слоя населения, которое принято именовать «простым народом», а в некоторых, особо интеллектуальных, кругах и попросту «быдлом» (письмо Прилепина появилось еще до событий на Майдане). Цитирование письма не имеет никакого смысла: во-первых, каждый тезис достоин отдельного упоминания, а во-вторых, популярность письма такова, что каждый знаком с его содержанием. Известны и отклики многочисленных рецензентов этого литературного творения: нетрудно догадаться, что доминирует в них резкая неприязнь. Те, кто привык называть Россию «этой страной», далеки от восприятия разумных доводов и способны воспринимать упоминание Сталина как красную тряпку, каковой им видится и флаг государства, которым тот правил. В либеральных кругах отношение к Сталину воспринимается как раздел «между зверьми и людьми», переступать который нельзя. Нетрудно догадаться, в какую катего-

рию представители этих кругов относят своих оппонентов.

Того, что симпатизирует Сталину большинство, не скрывает даже ВЦИОМ — по данным исследований, десталинизацию поддерживает только четверть населения, а само наличие этой инициативы имеет скорее обратный эффект, лишь усиливая в общественном сознании положительное отношение к «вождю народов».

Для либеральной общественности Сталин — это репрессии и принудительный труд в ГУЛАГе, мыслить иными категориями — удел «совкового быдла», человека недалекого и малообразованного.

Митинги «белоленточников» породили новое сочетание слов — креативный класс. Охарактеризовать это понятие иначе, кроме как сочетание слов, нельзя по той причине, что оно ничего не отражает, в отличие от класса эксплуататоров и эксплуатируемых, к примеру. Этимологически слово креативный должно обозначать «творческий», «созидающий». Но креативный класс ничего не создает, работая с нематериальными формами и занимаясь скорее имитацией деятельности, нежели деятельностью самой; творческим же может быть представитель любого класса, но, прежде всего, конечно, интеллигенции, за которую «креативщики» безуспешно пытаются себя выдать. Однако отличительной чертой интеллигенции всегда являлись не только знания и интересы, значительно превышающие наличествующие у митингующих «креативщиков», но и любовь к народу, забота о нем и боль за него. Это качество не просматривается ни у одного из «сетевых революционеров», не видно его и в рецензиях на труд Прилепина.

Глядя на этот зашкаливающий креатив, выливающийся бесконечным потоком обновляющейся ленты новостей на том же facebook, очень хочется стать «серой массой». Более того: такое желание диктует сама совесть. Не та, что «совесть нации», а та, которая где-то внутри самого своего существа. В том, чтобы разбудить ее, заставить говорить, и стоит смысл подобных прилепинским «писем».

Товарищ Сталин перестает быть собой, ухмыляющимся в усы с растиражированного портрета, а становится твоей совестью — не навсегда, но на время, необходимое для пробуждения, для того, чтобы задуматься о том, что в жизни, к которой ты вроде привык и которая движется по накатанной, действительно что-то не так. Апелляция к Сталину — это призыв к совести: недаром так распространена фраза «Сталина на них нет» в ответ на вопиющее беззаконие, произвол; апелляция к Сталину — призыв к правде в последней инстанции.

Образ Сталина переживает удивительные метаморфозы в народном сознании: в молодежной рэп-культуре существует несколько проектов, эксплуатирующих его. «Не забывай свои корни, помни: наш бог Коба, наш вождь добрый...» — цитата из творчества одних. «Товарищ Сталин, куда мы попали?» —

вопрошают другие, повествуя о жизни «спальных» районов.

Современная Россия, существующая в реалиях огромного спального района, как никогда нуждается в объединяющей идее, способной сплотить ее население. Вместо этого ей то и дело предлагается десталинизация. Подобная идея не только не способна сплотить, поднимая «наболевший» вопрос, она сеет раздор и вражду в и без того неспокойное общество.

Трудно поверить, что авторы и сторонники этой идеи настолько глупы, чтобы не понимать этого. Отсюда следует единственный вывод: у провозглашенной десталинизации другие задачи. К таковым можно отнести желание угодить мировому сообществу, не устающему требовать от России признаний в смертных грехах и кровавых преступлениях, а также — применительно к внутренней политике — подмену насущных проблем настоящего вопросом переоценки прошлого.

Провозглашение десталинизации — отнюдь не следствие глубокого изучения общественного мнения, напротив, оно противопоставляет себя ему. Автор идеи, Федотов, желал, чтобы у людей «засело в головах, что при Сталине погибло множество людей». Но для него не будет открытием, что в общественном сознании, о котором он так много говорит, Сталин ассоциируется вовсе не с этим. Опросы того же ВЦИОМ показали, что из всех пунктов программы десталинизации население поддерживаетувековечение памяти жертв репрессий, но отрицательно (в большинстве своем) относится к остальным.

Сталин в народном сознании — это прежде всего сильная Россия, во главе которой стоит сильный руководитель. Десталинизация представляет собой удар не по личности Сталина, который остается непобедимым даже спустя много лет после смерти и желание победы над которым до сих пор остается для некоторых «деятелей» делом всей жизни, а по тем ценностям, которые общество с этой личностью отождествляет.

Философ Александр Дугин очень точно трактует либерализм как «свободу от»: «Пока эта программа противопоставляется фашизму и коммунизму, она обладает достаточной силой притяжения», — пишет он. Не способная предложить никакой идеи, кроме «освобождения индивидуальности», она нуждается в Сталине — причем не как исторической личности, а как повестке дня сегодняшнего — для того, чтобы поддерживать свое существование. Эта мысль хорошо иллюстрируется желанием «яблочника» Митрохина пойти еще дальше, расширив программу десталинизации до дебольшевизации, признав «смертным грехом» все годы советского периода.

Показательно, что при всем желании избавиться от сталинского наследия, современная Россия обращается к нему в решении насущных проблем.

Владимир Путин периодически ссылается на сталинский опыт, говоря о ключевой задаче сегодняшнего дня — модернизации. О прорыве в экономике, промышленности говорится в последнее время многое — он остается тем самым желаемым, которое никак не хочет становиться действительным. Исторический факт полного восстановления промышленного потенциала СССР за два послевоенных года поражает воображение на фоне нынешнего «топтания на месте».

Все чаще вспоминается сталинский метод повышения экономической эффективности (кстати, взятый на вооружение Японией), основанный на системе материальных и моральных стимулов для активизации творческой активности масс и направленный на снижение себестоимости и повышение качества разрабатываемой или производимой продукции.

Индивидуальность личности в коллективе, выражавшаяся в ощущении значимости своей работы, полезности ее для общества, доброжелательного отношения к людям и непрерывного творческого взаимодействия, значительно выигрывает перед нынешним пониманием ее как отстраненности, отчужденности и противопоставлении себя коллективу. В сочетании с личной ответственностью руководи-

телей предприятий за качество продукции она и обеспечила феноменальный прорыв в науке, технике и экономике в целом, который так необходим России нынешней и о котором сегодня остается только мечтать...

На фоне достижений современной России сталинский СССР выглядит гигантом, заоблачным идеалом — как на уровне государственных задач, так и в простом обывательском сознании, тоскующем о достойной жизни достойного гражданина.

Сталин будет существовать всегда. Потому что, вне зависимости от его деяний и различного к ним отношения, он был последним (на сегодняшний день?) великим правителем, а одержанная им победа над фашизмом — последним великим историческим событием. Фигура такого масштаба будет будоражить умы всех поколений.

«У нас была великая эпоха» — название книги Лимонова удачно выражает всю суть «сталинизма». Тоска по Сталину — это мечта о величии, представляющемся сегодня недостижимым, и о своей причастности к нему, взамен образовавшейся вокруг пустоты. Именно поэтому десталинизация представляется мерой не просто вредной или лишенной необходимости, но и в принципе невозможной, нереализуемой.

Тимур Сазонов

Не кибуз и не холдинг Предновогоднее письмо в редакцию

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!

Писем в нашу редакцию приходит много и самых разных — спасибо вам за это и поклон. Но таких странных, кажется, не было никогда. Мы долго думали, публиковать ли его, особенно в канун Нового года. Но потом решили: мнение каждого читателя, хоть бы и высказанное с бодуна, для нас важно.

Здравствуй, дорогая редакция «Крестьянина»!

Пишет вам механизатор высшей категории из хутора Малые Хреновицы ...евского района (неразборчиво написано. — Прим. ред.) Семён Бобрищев. Мне 78 годков, а 45 из них я отпахал на комбайне. И скажу вам прямо — ничего я так не любил в жизни, как свой комбайн. Попутно душа у меня лежала к стихам и прочей бабской нежности, но речь сейчас не об этом.

Пишу вам по неимоверно важному поводу. Уж будьте голубчики, донесите мои писания до верхушки, потому как, заверяю вас, открылось мне будущее. А будущее наши верховные хлопчики видят обычно в тумане. Ну, я им проясню. Мне сон был. И сон веший — чисто как по телевизору смотрел. Только без брехни.

Начну, пожалуй.

...Я уж не знаю, дорогая редакция, что за самогон такой баба Нюра варит, но адреса её я точно никому не дам. И на бабе той женюсь, потому как с виду она трухлява, а руки у неё золотые.

Напала на меня недавно тоска. Вспомнил я, как на колхозном сеновале мы с девками частенько звёзды считали. И как тот колхоз потом инвестор обtrушил. Чисто как грушу. Комбайн мой на куски порезали, жена от вредности к детям ушла, и стал я думать: на кой горький хрен моя жизнь к закату перевелась? Слава богу, имелась в заначке бутыль. Пригубил слегка, закусил огурцом. И случилось со мной после третьего стакана небывалое.

Приснилось мне, значит, что нахожусь я в своём старом колхозе, вроде как в наше время. Только в своём, да не в своём. Огляделся — и глазам поверить не могу. Пшеница стоит — ростом с боеголовку! Трактора, как жуки, по полям — туда-сюда. Свинярники длинные, свежевыкрашенные, пахнет от них, как от духов, что наш партком председателевой жене из Москвы привёз. Да и вообще — всё кругом кулацкое, довольно, аж лоснится. Клуб новый вдалеке, асфальт лежит жирный, неворованный...

«Что за чертовщина, — думаю, — никогда так не жили. Откуда дровишки?»

Гляжу, идёт навстречу мужичок. Лицо вроде знакомое, а вроде и нет. На Путина не похож. И на Обаму тоже — как описать? Бросился я к нему.

— Скажи, мил человек, — говорю, — что за богатство такое? Наш колхоз-то инвестор по миру пустил, а землю глава района себе прибрал да в холдинг ещё отписали. А тут не хутор, а чистые Емираты. Или, может, нас немцы тайком победили?

Далее не выдержал, за руки его схватил.

— А ну, признавайся, — кричу, — в России мы находимся или где? Ну-кась, давай: Малые Хреновицы далеко отсюдова?

Он руки свои шустро освободил, в сторону отпрыгнул. Посмотрел на меня подозрительно так, с прищуром. Будто я вроде с Луны свалился. Предчувствия меня не обманули.

— Ты чего, — говорит, — дед, из дурдома сбежал? Или в лесах, как те японские солдаты, сто лет прятался? Что за чушь несёшь — какие такие холдинги? Мы их у себя ишо в двадцать пятом году на корню перевели, как великая Зерновая революция случилась! А Малые Хреновицы твои давно уж в Большие Хреновища переименовали!

Тут у меня ноги подкашиваться стали. «Ну ничего себе, — думаю, — история. Какая ещё революция! Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

Решил теперь с ходу не ломить — разузнать помаленьку.

— Как же, как же, сынок, помню! — подпустил ему леща. — Да не всё, оказывается. Знаешь, как лёг со вчера после самогонки, так и в разум прийти не могу. Всё чудится, будтоолжизни проспал. Ты в моей башке-то всю мебель историческую расставь...

Мужик почесал в затылке и стал задумчивоходить вокруг меня, как петух возле наседки. Тут на поясе у него зажужжала какая-то машинка, а потом бабий голос в ней приятно сказал: «Милый председатель, всё зерно собрано в бункерах, коровы подоены, люди накормлены. Отдыхай!»

— Спасибо тебе, Агротехнология! — сказал он в машинку. И любовно так её погладил.

— Ба! Да ты теперь новый председатель нашего колхоза! — всплеснул я руками. — То-то я гляжу! Ах, голубчик! Такой, конечно, жизнь селянам наладит! Бери меня в механизаторы...

— Стой-стой, дед, не гони лошадей! — Председатель даже руками на меня замахал. — Что ты пил, я не знаю, но в башке у тебя, натурально, бардак. Как в России когда-то. Либо ты прикидываешься? Колхозов-то у нас в области тоже давно нет!

— Батюшки-светы! — Тут я совсем растерялся. — Что же это делается. А что есть, коли вы так хорошо живёте? Нешто кибуц?

— Сам ты кибуц! — Председатель усмехнулся в свои пшеничные усы (так раньше писали у нас в рай-

онке, дорогая редакция). — Свободная Фермерская Республика! Слышал?

Я, хоть и некрещёный, но истово перекрестился, глядя на коровник. Стало мне совсем худо.

— Нет, товарищ председатель, — говорю. — Никогда не слышал. При моём времени фермеров гнобили и не уважали. Субсидий давали мало. А о свободной республике и вовсе речи не велось. Была вроде какая-то ассоциация, но взносов не платили, и всё, пришло закрыть. Что ещё за политическое формирование?

Мужик посмотрел на часы.

— Чудной ты, — сказал он, — дед. Вроде как и впрямьолжизни проспал. Время есть, слава богу, идём со мной — расскажу, что и как у нас тут. Авось и действительно в механизаторы сгодишься. Мозоли твои трудовые вижу, ни с чем их не спутать. Сразу видно — не шпион.

— Да уж какой тут шпион, батюшко, — меня от его ласковых слов на слезу прошибло. Никогда этим бабьим недугом не страдал, а тут.. — Кстати, меня Семён Филиппыч звать.

— Александр Иванович, — отрекомендовался председатель.

Прошли мы с ним к ближайшему буфету. Шёл я и всё дивился — тут покрашено, здесь, а главное — нигде ни соринки.

— ТОС работает, — важно пояснил Иванович. — Самоуправление, значит. Ну, садись, дед.

Буфетчица в чепчике поставила перед нами котлеты, компот и пирожки. «Красивая баба», — подумал я по привычке, хоть и был в расстроенной конституции.

— Ты, дед, скажи, с какого момента память-то потерял? — начал председатель.

— Да как с какого... — стал я с трудом соображать. — Помню, большая политика завелась: бомбили мы чего-то, то ли Сирию, то ли Киев... Хрен разбери. И всё перемешалось. То мы ихние яблоки не жрём, то они наши. Сказали нам, вроде заживём — главное, чтоб в Турцию ни гугу. А доллар как попёр! Ему говорят: «Не при!» А он себе прёт, и жизнь дорожает. И мы запутались совсем — то ли американские шпионы гадят, то ли коррупция осатанела...

— Ну ты всё правильно помнишь, дед! — воодушевился председатель. — Дальше-то самое главное было, ну!

— Не помню, — развёл я руками.

— Ну что ж ты!.. — с укоризной сказал председатель. — Дальше-то по всему миру проблемы начались: неурожай, геи, провокации. Глобальное потепление, опять же. А по правде сказать, думаю, земля-матушка на нас осерчала, ибо совсем мы оскотинились в своём постиндустриализме. Еда подорожала не хуже, чем твой доллар. Демонстрации начались по всей Европе, в Америке... И случилась, брат, Зерновая революция!

Внутри у меня похолодело.

— Ой-ой, это что ж такое, — говорю. — Не помню!

— Да, точно, революция — мы её так называем, — сказал председатель. — Привязали, в общем, доллар не к нефти, а к зерну и молоку. Чтоб, значит, продовольствие поднять. И стало Россию корёжить не хуже, чем век назад. На экспорт-то надо гнать, а у нас, кроме нефти, ни хрена не растёт! А кому она сейчас нужна, нефть? Молоко нужно, пшеница! Ну, по привычке раздали деньги друзьям-братанам — мол, поднимайте сельское хозяйство. Те давай мегафермы лепить. А деньги р-раз — и кончились. Что делать, страна на грани! Ух, времена настали...

Иваныч выпил единственным махом стакан компота и налил второй. Буфетчица смотрела на него как влюблённая кошка. Перевёл дух и продолжил:

— Тут у фермеров прямо просветление настало. Начали мы стекаться, помолясь, к Кремлю. Не майдан, а так, народное вече. Ну, туда-сюда, объясили свою позицию. И законодательно постановили: сэ-ха поднимать — наша работа! Пришлось, конечно, по-потеть убеждаючи... Зато теперь — красота! По всей стране фермерские союзы, и никто субсидий не просит. Верней, просят, но не мы, а нефтяники. Хе-хе. Нет, ты не думай, агрохолдинги тоже остались кое-где. Есть у нас даже область, где всё кругом — один сплошной холдинг. Из-за него пришлось даже название области поменять — Комплексно-аграрный край. Ну, один черт, там не живёт никто...

Председатель встал со стула и подошёл к окну. Глаза его увлажнились.

— Иди сюда, дед, чудо дивное тебе покажу. Видишь, вдалеке труба белеет?

Я пригляделся — за холмами, точно как змея, разлеглась огромная труба. Что такое?

— На экспорт гоним. Знаешь, что там? — с гордостью спросил председатель. — Молоко!

...Я ещё долго его слушал и всё наслушаться не мог. Но чем дальше, тем сильнее крепла во мне одна мысль, а точнее, сакраментальный вопрос. И наконец я не утерпел.

— Постой-ка, постой, братец! — прервал я председателя. — Ты мне карданный вал в башке в аккурат напрочь своротил. Но ответь на один вопрос: Путина-то вы куда дели?! Путина! Он бы вам такую хренотень точно не...

— О дед! — воскликнул председатель. — В самую точку попал! В самое больное, что ни на есть, яблочко. С Путиным-то вот какая история приключилась...

И тут, дорогая редакция, ка-а-ак забабахает у меня перед носом! Как зашумит в окне! И слышу я сквозь сон:

— Филиппыч! Просыпайся!! Ты живой там? Уже обед!

Васька-сосед, чёрт его раздери, в окно тарабанит. Весь сон мне перебил.

Так я и не узнал, дорогая редакция, что там с Путиным приключилось. Ну, надеюсь, что внакладе он не остался. А я думаю, и без того мне достаточно вешнего привиделось, чтоб политику аграрную в стране поменять. Так им всем и передайте.

Затем кланяюсь, всегда Ваш,

Бобрищев Семён Филиппович.

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Филиппов. Сын человеческий	4
Юрий Лунин. Три века русской поэзии	10
Анастасия Чернова. Горький шоколад	24
Елена Тулушева. Чудес хочется	41
Вячеслав Иванов. Стихи	58
Павел Великжанин. Стихи	60
Роман Рубанов. Стихи	62
Александр Сигида. Стихи	65
Станислав Смагин	
Медицинское измерение суверенитета	68
Правонападение на грани	69
Слеза пенсионерки	71
Трагедия и триумф русского Октября	72
У премии не русское лицо	74

Георгий Панкратов

Десталинизация: об истинных целях и последствиях	75
--	----

Тимур Сазонов

Не кибуц и не холдинг	77
-----------------------------	----

Генеральный**директор**

Елена Шевцова

Главный бухгалтер

Людмила Дьячкова

Художественный**редактор**

Татьяна Погудина

Цветоделение**и компьютерная****верстка**

Александр Муравенко

Заведующая**распространением**

Ирина Бродянская

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

123007, Россия, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Тираж 2 500 экз.

Уч.-изд. л. 10,0.

Заказ № 850-2017

Адрес редакции:

Россия,

107078, Москва,

Новая Басманная, д. 19

Телефоны**редакции:**

8(499) 261-84-61

отдела распространения:

8(499) 261-95-87

Факс:

8(499) 261-49-29

E-mail:

www.roman-gazeta-1927@

yandex.ru

Сайт:

www.roman-gazeta-1927.ru

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.Отклоненные рукописи
сохраняются в течение года.**НАШИ АВТОРЫ**

ФИЛИППОВ Дмитрий Сергеевич родился в 1982 г. в Киришах под Ленинградом. Окончил филфак ЛГУ им. Пушкина. Работал педагогом, грузчиком, продавцом, монтажником. Служил в Чечне. Старший сапер. Лауреат пяти литературных премий. Автор романа «Я — русский» (2015). Живет в Петербурге.

ЛУНИН Юрий Игоревич родился в 1984 г. в Партизанске (Приморский край). Первая публикация — в 2007. Лауреат трех литературных премий, в т.ч. им. Леонида Леонова. Работает таксистом в Ногинске, редактор журнала для слепых «Диалог». Живет в Подмосковье.

ЧЕРНОВА Анастасия Евгеньевна родилась в Москве. Окончила Литинститут. Лауреат российских и международных конкурсов. Кандидат наук. Ответственный секретарь газеты «Православная Москва». Автор книги «Самолет пролетел». Живет в Москве.

ТУЛУШЕВА Елена Сергеевна родилась в Москве. Окончила Институт психотерапии и клинической психологии и Институт психоанализа, а также ВЛК при Литинституте им. Горького. Автор книг «Чудес хочется!» и «Виною выжившего». Член Союза писателей России. Живет в Москве.

ИВАНОВ Вячеслав Александрович родился в 1982 г. в Смоленске. Окончил МЭИ, инженер по образованию. Лауреат поэтического конкурса «Рубикон». Член Союза российских писателей. Живет в Смоленской области.

ВЕЛИКЖАНИН Павел Александрович родился в 1985 г. в Кузбассе. Жил в Зауралье. В конце 90-х переехал в Волгоград. Автор патриотической лирики. Живет в Волгоградской области.

РУБАНОВ Роман Владимирович родился в 1982 г. в деревне Стрекалово Курской обл. Окончил факультет теологии и религиоведения КГУ. Автор поэтических сборников «Соучастник» и «Стрекалово». Лауреат ряда литпремий, в т.ч. «Звёздный билет». Член Союза писателей Москвы. Живет в Курской области.

СИГИДА Александр Александрович родился в 1986 г. в Краснодоне. Филолог по образованию. Поэт, переводчик, публицист. Участник Совещания молодых писателей в Каменск-Уральском и Совещания военных писателей (2015). Живет в г. Молодогвардейск в ЛНР.

СМАГИН Станислав Анатольевич родился в 1984 г. в Ростове-на-Дону. Окончил факультет социологии и политологии РГУ. Политаналитик и журналист. Автор ряда изданий и порталов, в т.ч. «Известия», «Культура», «Народные новости», «Свободная пресса» и др. Живет в Ростовской обл.

ПАНКРАТОВ Георгий Витальевич родился в 1984 г. в Ленинграде. Участник Форума молодых писателей. Лауреат премий Дмитрия Горчева, «Ясная Поляна», «Дебют». Автор книги «Письма в Квартал Капучино». Проживает в Москве и Севастополе.

САЗОНОВ Тимур Геннадиевич родился в 1985 г. Окончил журфак в Ростове-на-Дону. Журналист независимой газеты «Крестьянин». Пишет о проблемах сельского хозяйства, об аграрных технологиях. Автор статей о жителях российской глубинки, о коррупции и местной власти. Преподаватель Южного федерального университета. Живет в Ростовской области.

Информация для подписчиков и читателей «Роман-газеты»

В честь 90-летнего юбилея нашего журнала редакция планирует выпустить в 2017 году не двадцать четыре, как обычно, а двадцать пять номеров «Роман-газеты». Один из номеров во втором полугодии будет посвящен истории старейшего литературного издания страны. В него войдут уникальные материалы из архива редакции, интервью главных редакторов, письма и обращения классиков советской и российской литературы, а также новый каталог «Роман-газеты» (с 1997 по 2017 годы). Каталог журнала с 1927 по 1997 годы был издан в 1997 году.

«РОМАН-ГАЗЕТЕ» — 90 ЛЕТ!

В 1927 году вышел в свет первый номер поистине народного литературного журнала — «Роман-газеты». Такого издания не было ни в одной стране мира. СССР, победившему неграмотность, вставшему на путь индустриализации, была жизненно необходима «дешёвая и качественная книга для народа». Именно так рассматривал «Роман-газету» её основатель и многолетний куратор — великий русский писатель Алексей Максимович Горький.

Символично, что в дебютном номере нового журнала был опубликован роман немецкого писателя Иоганнеса Бехера «Грядущая война». Символично и то, что эта тема остаётся весьма актуальной сегодня, спустя девяносто лет. Мир вновь переживает очередную «ломку», и мало кто может сказать, чем она закончится.

На протяжении всей своей истории «Роман-газета» была и остаётся уникальным изданием как по числу представленных на её страницах авторов, так и по проникновению в душу «народных масс». В лучшие годы тираж журнала доходил до четырёх миллионов экземпляров! Сегодняшний, несопоставимый с прежними цифрами, тираж журнала — прямое следствие необратимых социальных, экономических и идеологических изменений, произошедших в нашем обществе. «Толстые» литературные журналы, выполнявшие со времён Радищева, Новикова, Пушкина и Некрасова в России и СССР роль общественных «трибун», площадок для столкновения позиций и мнений мыслящих людей своего времени, сегодня находятся на

границе исчезновения. Полноценный литературный процесс в современной России подменён «рекламно-премиально-коммерческим» продвижением избранных авторов в лидеры общественного мнения, определением их на роли ведущих авторов. При этом обязательным условием медийной и прочей «раскрутки» должно быть критическое (до ненависти) отношение этих литераторов к сегодняшней и исторической России, а главное — к русскому народу.

Если в былые годы «Роман-газета» выполняла функцию «домашней библиотеки» практически для каждой семьи на просторах необъятного СССР, то сегодня наш журнал стал «воротами» к читателю для десятков талантливых авторов из российской провинции. Виктор Лихоносов из Краснодара, Владимир Ситников из Вятки, Борис Агеев из Курска, Юрий Фанкин из Мурома, Елена Пустовойтова из Владимира, Аркадий Макаров из Воронежа, Владимир Степанов из Твери и многие-многие другие пишут правду о нашей сегодняшней жизни, а потому их произведения сознательно замалчиваются, оказываются в «полосе опережающего забвения». А между тем, это — национальная русская литература, то есть то зеркало, в которое должна смотреть и делать выводы власть.

В юбилейный год в журнале публикуется проза давно сотрудничающих с «Роман-газетой» классиков современной литературы: Александра Проханова, Владимира Личутина, Анатолия Кима, Виктора Пронина, Ярослава Шипова, Михаила Тарковского, Сергея Есина...

В 2014 году наш журнал совместно с политической партией **СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ** учредил литературную премию для молодых прозаиков, поэтов и публицистов **«В поисках правды и справедливости»**. В конкурсе приняли участие сотни молодых авторов со всех концов страны. Сегодня лауреаты премии — прозаики **Андрей Тимофеев, Платон Беседин, Елена Тулушева**, молодые поэты и публицисты активно печатаются в ведущих литературных изданиях, во многом определяя лицо современной молодой литературы. То же самое можно сказать и о лауреатах 2016 года: прозаиках **Дмитрии Филиппове, Юрии Лунине, Анастасии Черновой**, поэтах **Вячеславе Иванове, Павле Великжанине, Романе Рубанове**, Александре Сигиде, публицистах **Станиславе Смагине, Георгии Панкратове, Тимуре Сазонове**.

Важно отметить, что подавляющее большинство победителей конкурса живут и работают в провинции. Главная тема их произведений — жизнь народа, мучительные поиски истины и справедливости в современном, скучном на эти понятия мире.

Сегодня редакция «Роман-газеты» сократилась до минимума. Всех, работающих в ней сотрудников, можно по праву считать патриотами журнала, подвижниками современной русской литературы.

Редакция поздравляет авторов и читателей нашего журнала с 90-летием!

Мы верим в Вас и в будущее!

Юрий КОЗЛОВ, главный редактор



Редакция «Роман-газеты» (слева направо): Елена Шевцова, Екатерина Роцина, Елена Русакова, Юрий Козлов, Татьяна Погудина, Александр Муравенко, Людмила Дьячкова, Ирина Бродянская

